



Леонид Фадеев

ХЛЕБ ДИОГЕНА,
или
ЗАПИСКИ ДВОРНИКА

Проза

Москва
Вест-Консалтинг
2022

УДК 82
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ф 15

Фадеев Л. Г.

Ф 15 Хлеб Диогена, или Записки дворника / Проза. —
М.: Вест-Консалтинг, 2022. — 200 с.

ISBN 978-5-91865-663-1

В книгу «Хлеб Диогена, или Записки дворника» советского и российского прозаика Леонида Фадеева вошли рассказы, очерк, эссе, повесть, написанные писателем в разное время в г. Минске, г. Москве, М. О.

*Выражаю сердечную благодарность моей племяннице
Красновой (Стефанюк) Кристине Николаевне и её сыну Александру
за помощь при составлении книги.*

*В оформлении обложки использованы материалы
сайта бесплатных изображений pixabay.com.*

© Фадеев Л. Г., наследие, 2022
© Фадеева Л. В., составитель, 2022
© «Вест-Консалтинг», оформление, 2022

ПОЭТ, ПРОЗАИК, ГРАЖДАНИН

Леонид Герасимович Фадеев родился 5 ноября 1935 года в деревне Шибихино Выходского (ныне Угранского) района Смоленской области, в местах, которые сейчас называют русскими Хатынями (на одной только Смоленщине в годы ВОВ немцы сожгли вместе с жителями около 300 деревень).

Леонид Фадеев относится к поколению людей «Дети войны». В малолетнем возрасте будущий писатель познал военное лихолетье, весь ужас и невзгоды гитлеровской оккупации. Он был и очевидцем, и жертвой тех самых событий со страшным словом «война».

Немецкие каратели сожгли деревню Шибихино, а жителей под конвоем автоматчиков угнали с родных мест. Только случайность оставила в живых семью Фадеевых по дороге на чужбину. Наступала Красная Армия. Отступая, немцы в спешке бросили «телятники», набитые невольниками, в тупике на одной из товарных станций в Белоруссии.

Чтобы не умереть с голоду, семилетний Лёня Фадеев ходил с котомкой — «побирушкой» и просил милостыню, а затем батрачил на одном из белорусских хуторов вплоть до окончания войны. День освобождения родины от гитлеровской оккупации Лёня Фадеев встретил в Белоруссии.

После войны семья Фадеевых объединилась и осталась в Белоруссии. Отец с фронта вернулся инвалидом,

да и возвращаться было некуда: от родной деревни Шибихино остались одни пепелища, заросшие молодняком и дикой травой.

В Белоруссии Леонид Фадеев окончил школу, служил в армии, затем поступил на филологический факультет Белорусского госуниверситета, получил диплом журналиста. Около 25 лет проработал на Гостелерадио. Репортажи вёл на русском и белорусском языках.

Свой творческий путь Леонид Фадеев начал в Белоруссии. Первое своё стихотворение он написал в 12 лет и оно было опубликовано в Сновской школьной газете. Его книга «Мамино поле» была издана в Минске.

В Москве с 1983 года, но частица сердца осталась в Белоруссии: в г. Клецке похоронены его родители, в Минске — брат и сестра.

Леонид Фадеев — член Союза писателей России и Москвы, член Некрасовского комитета СП России и творческого клуба «Московский Парнас», член Союза журналистов СССР.

Писатель Леонид Фадеев — автор 18 поэтических сборников. Он — многожанровый поэт: лирика гражданская, военная, любовная, пейзажная, философская. Его стихи были опубликованы в антологии современной российской поэзии «Созвучье слов живых» (2011 г.). У Леонида Фадеева есть и проза: рассказы, эссе, очерк, повесть.

Через всю жизнь и творчество Леонида Герасимовича Фадеева прошла память о злодеяниях фашистов на смоленской земле, о сожжённой гитлеровскими извергами родной деревне Шибихино и других деревнях Смоленщины (на смоленской земле было сожжено более

5 тысяч сёл и деревень. Цифры взяты из угранской газеты «Искра» № 8 от 30.01.2013 г).

Леонид Фадеев вместе с другими земляками-угранцами (в настоящее время живущими в Москве) создали инициативную группу по увековечению памяти сожжённых фашистами смоленских деревень — русских Хатыней.

Он принимал активное участие в работе этой группы. Неоднократно вместе с членами инициативной группы поэт выезжал на Смоленщину, выступал там, в том числе был и на открытии мемориала «Поле заживо сожжённых» 9 мая 2008 года на месте спалённой гитлеровцами в 1943 году д. Прасковки (Угранский район Смоленской области). Об этом историческом событии Леонид Фадеев написал очерк.

Тему сожжённых деревень Смоленщины в своих стихах писатель начал поднимать в 1972–1973 годах.

Леонид Фадеев удостоен звания лауреата премии имени Константина Симонова с вручением золотой медали и лауреата Всероссийской премии имени Н. А. Некрасова с вручением медали.

28 октября 2012 года в 13 часов Леонид Герасимович умер. Похоронен в Москве на Преображенском кладбище (участок № 26).

Но писатель Леонид Фадеев не умер. Его творческая жизнь продолжается.

После кончины Леонида Герасимовича Фадеева осталось его наследие, в виде папок, черновиков с вариантами и набросками его произведений и я — его вдова, посильно продолжаю дело своего мужа — выступаю на различных

площадках не только в г. Москве, но и в г. Смоленске, пос. Вскоды (Угранский р-н Смоленской обл.), г. Солнечногорске МО, г. Рязани и др. на мероприятиях, связанных с трагическими событиями нашей страны в годы ВОВ, на которых читаю и стихи Леонида Фадеева.

Мои очерки о трагедии на Смоленщине в годы ВОВ были опубликованы: в газете «Правда» за 2014 и 2016 гг.; в альманахе «Под небом рязанским», Рязань, 2016 г.; в коллективном сборнике «Сожжённые заживо взывают к нам», Москва, 2018 г.

Но самое главное — после смерти Леонида Фадеева вышло 11 его поэтических книг (составитель сборников автор этой статьи).

Произведения поэта не дают забывать о страшных преступлениях фашистов на нашей земле.

Книги писателя Леонида Фадеева передаются в фонд Российской государственной библиотеки, имеющей статус национальной, в школы, библиотеки, музеи.

Его произведения вошли во многие сборники литературно-художественных произведений, звучат на различных литературных мероприятиях.

*Людмила Валентиновна Фадеева — вдова поэта.
Лауреат XIII Международного литературного
конкурса-фестиваля «Под небом рязанским».*

НА ЛАДОНИ ЛОМТИК ХЛЕБА

В сокращении

Мне выпала приятная случайность — познакомиться с творчеством Л.Г. Фадеева, крепко привязанным к конкретным реальностям и густо замешанных на них. Впоследствии для себя я открыл несколько нечаянных и примечательных обстоятельств. Оказалось, в его биографии есть немало «белорусских» страниц, связанных не только с детством и юностью, но и жизненным и творческим становлением, а сам поэт — практически наш земляк, что ещё больше подогревало к нему интерес.

Родился Леонид Герасимович 5 ноября 1935 года в деревне Шибихино Угранского (ранее Восточного) района Смоленской области, граничащей с Витебщиной.

Во время войны, после того как в феврале 1943 года немцы бросили на произвол судьбы в тупике на товарной станции в Западной Беларуси «телятники», набитые смолянами для насильного угона в немецкое рабство, его и многих из того злополучного эшелона приютила белорусская земля. Возвращаться было некуда — от родной, «огненной» деревеньки остались одни пепелища и руины в зарослях хмызняка. Тогдашние будни складывались очень тяжело: глотал голодную слюну, попрошайничал, чтобы не умереть, батрачил в свои восемь лет как мог, через ребячью силёнку, наравне со взрослыми, не видя просвета — период не то, что не в радость, а полного отчаяния, которому он дал потом своё жёсткое, как приговор определение: «Я помню жизнь как выживанье...»

(стихотворение «Не забываю»). Ведь каждый её новый день мог быть последним.

Говорят, что животворят людей и побуждают к раскрытию себя те едва постижимые тайны, которые, видимо, есть в их подсознании. Любопытны перипетии прихода Леонида Фадеева в литературу.

Первые шаги на творческой тропе он сделал ещё в детстве, когда учился в Сновской СШ Несвижского района Минской области и в школьной стенгазете было помещено его сохранившееся ученическое стихотворение «Летняя песенка», написанное на белорусском языке. Наступившее затем охлаждение к сочинительству оказалось временным, хотя и продолжительным.

Второе «побуждение» наступило после окончания Белорусского государственного университета, в период работы собственным корреспондентом Гостелерадио по Могилёвской области. Тогда, проживая в Бобруйске и находясь на больничной койке, в той необычной, по логике явно неблагоприятной, обстановке, стихи, вопреки всему, сами, произвольно, стали выкатываться непонятно откуда и ложиться на бумагу. Однако с тех пор его художественный дар ещё долгое время, пробирая себе дорогу, «томился» где-то подспудно в глубинных лабиринтах сознания.

В сложное для своего человеческого и творческого становления времена Леониду Фадееву выпали полезные и окрыляющие встречи и контакты с замечательными поэтами в первой половине 70-х годов, благоприятно повлиявшие на его судьбу писателя. Провожая его домой вместе с Анатолием Гречаниковым, тогда заместителем председателя правления Союза писателей Беларуси, на автовокзале в Минске Микола Аврамчик сердечно напутствовал: «Поезжай, Леня, в свой Бобруйск и помни,

что ты хороший поэт». Тогда же он получил из Москвы ободряющее письмо от Владимира Фирсова: «...Вы человек одарённый. Есть у вас то, что мы называем своим взглядом на мир. Писать вы можете. Спору нет, что знаете жизнь. Вам есть что поведать людям. Пишите...».

В начале 80-х ему случилось переехать в Москву, где необычными и непривычными, но поучительными во всех смыслах оказались многие трудовые обязанности и «ступеньки жизни», напитавшие и обогатившие его новым опытом: он успел поработать в одном НИИ, был сотрудником столичного профсоюзного комитета агропромышленного комплекса, дворником, слесарем-сборщиком на заводе, народным депутатом, сторожем, председателем садоводческого товарищества.

Любопытно, что на то время выпало его третье возвращение к поэтическому слову, а вспыхнувшая опять искорка творчества («в душе зашевелилось слово») так разгорелась, что стремление духовно выразить себя уже никогда не угасало. Ведь не зря говорят: то, что дано человеку свыше, обязательно проявит себя. Так произошло и с ним. К сожалению, в конце октября 2012 года поэта не стало.

Леониду Фадееву принадлежит более десятка оригинальных литературных сборников, семь из которых вышли при его жизни: «Мамино поле» (1995 г.), «Колыбель» (1998 г.), «Из глубин родимые ключи» (2005 г.), «Живая капелька твоя» (2007 г.), «Благодарение» (2008 г.), «Благовест» (2010 г.), «Годы и память, войной опаленные» (2012 г.), «К свету и добру. Смоленщина моя» (2013 г.), «Русские Хатыни. Сыновний плач» (2013, 2014 гг.), «Земной поклон» (2013 г.), «Катюшин берег» (2014 г.), «Струны мои тихие» (2015 г.), «Эхо вчерашнего века» (2015, 2020 гг.), «Нескучные мысли» (2016 г.),

«Лестница жизни, или Здравствуй мир» (2017 г.), «А вот и я» (2019 г.), «Для внуков дерева растил...» Избранное (2021 г.).

В моём представлении эти томики, часть из которых пришли к читателю благодаря энергии и усердию вдовы писателя Людмилы Валентиновны Фадеевой, — ёмкие брѣвнышки реалистического домика его разностороннего творчества, богатого по идейной направленности и содержанию, с ярким патриотическим стержнем, куда вошли стихи, баллады, поэмы, повести, эссе и рассказы, справедливо отмеченные литературной премией имени К. Симонова и всероссийской премией имени Н. А. Некрасова. Им нашлось место и в антологии современной российской поэзии «Созвучье слов живых» (2011 г.), и в различных тематических сборниках, альманахах, других периодических изданиях.

Чтобы заглянуть и открыть для себя глубины переживаний, добрый свет и мир поэта-лирика Л. Фадеева, стоит полистать страницы его поэтических книг, вдуматься в их строки, напоминающие своими особенностями некоторые традиции русской классической литературы, которые продолжали и утверждали его земляки, замечательные поэты — А. Твардовский, М. Исаковский, Н. Рыленков (венки прославленных имён) и другие большие мастера слова. Я бы включил в этот великий ряд Я. Купалу, Я. Коласа, М. Богдановича, программных авторов для белорусских школ, творчество которых ему, очевидно, было хорошо знакомо. Это подтверждают те стихотворения, для которых эпиграфом служат их поэтические строки, что проявились в ряде сборников. Его сходство с ними — и в простоте и реалистичности слога, в том, что, как и они, Л. Фадеев

писал легко, широко, нередко размашисто, а главное — с болью, опираясь на собственный опыт и свое видение «живой», трудной и непричёсанной жизни.

Своё, жизненное, выношенное представляет проза Л. Фадеева. Читается она легко потому, что наделена выверенным и несуетным словом и светом добра. Улыбку и грусть вызывают эпизоды о начале непростой пастушьей доли и обычные оладьи («Блины»); глубоко трогает самоотверженность, любовь маленького ребёнка к бабушке, вызывает чувство сострадания его пронзительное отчаяние в связи со смертью дорогого человека («Витёк»); забавно и точно выглядят «очеловеченные» назойливые полёты — вторжения в жильё человека мухи и реакция на них лирического героя («Муха»); добрый свет струится от рассуждений о красном флаге и празднике знаний — первое сентября («Первое сентября»); о возвышенных мыслях наедине с природой, как будто созданной для человека, и цене жизни напоминает рассказ («Встреча на тропе»); глубокий по содержанию, правдивый и жизненный рассказ («Кочегары») актуален и сейчас — в наше непростое, сложное время. Немало интересных наблюдений есть и в других прозаических произведениях автора. Созданные в разные годы, они оставляют приятное впечатление.

У С. Есенина и народного поэта Беларуси М. Танка есть схожая замечательная мысль о том, что биография поэта — в его слове, и она — одна. И, главное, подходит к творчеству Л. Фадеева. Его внутренний мир богатый и непростой, как и сама жизнь, а поэзия и проза — земная и многообразная своими откликами на события и проблемы, дела и поступки, на встречи и расставания, где выражена русская душа, поклонение матери, женщине, родной земле, России. Живут в ней, несмотря

на огромные социальные и нравственные перемены, добрые чувства к Беларуси, тем дорогим местам, где пришлось скитаться в самые трудные и тяжёлые годы детства и юности, стать на ноги и обрести себя. Это и тревоги за будущее и надежда на лучшее — на сохранение всего того, что всегда питало, очищало душу, давало силы и поддерживало на протяжении долгих лет.

*Михаил Кузьмич,
член Союза писателей Беларуси,
кандидат философских наук.*

ПИСЬМА К ФАДЕЕВОЙ ЛЮДМИЛЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ

Добрый день, Людмила Валентиновна!

Примите нашу искреннюю благодарность за Ваше внимательное и бережное отношение к творчеству Леонида Герасимовича Фадеева, к каждой его строке

Мы держим в руках книги Леонида Герасимовича и понимаем — они результат Вашего благородного труда, в эти книги Вы вложили частички своей любви, своей памяти, своей души.

Каждая книга находит дорогу к своему читателю, благодаря Вам, эта дорога стала легче и короче. Низкий поклон Вам, Людмила Валентиновна, за Вашу человечность, контактность и бескорыстие.

От всей души желаем Вам и всем, кто Вам дорог, крепкого здоровья, благополучия, добрых и светлых людей на жизненном пути.

С уважением и от имени коллектива библиотечной системы, редакции газеты «Хиславичские известия», наших читателей.

*Мироненко Наталья Ивановна
п. Хиславичи Смоленская обл.
22 января 2021 г.*

Здравствуйте, дорогая Людмила Валентиновна!

В нашей библиотечной жизни снова радость — мы получили от Вас новую книгу Леонида Фадеева, нашего земляка и удивительно талантливой автора. Автора многогранного, которому прекрасно удаются стихи, поэмы, рассказы и очерки. Именно «удаются», ведь и библиотекари, и читатели считают, что автор где-то среди нас, когда звучат его строки, читаются книги, и кто-то борется за сохранение его литературного наследия.

Чтение каждого стихотворения Леонида Фадеева — это открытие, хочется вновь и вновь возвращаться в его поэтический мир. Размышления о пережитом, о любви и дружбе, боль и надежда звучат словно вехи жизненного пути.

Дорогая Людмила Валентиновна, мы благодарны Вам за подаренную книгу «Для внуков дерева растил», и искренне желаем Вам солнечных лет жизни, добрых людей в Вашем окружении, здоровья, и, конечно же, новых возможностей и новых книг!

*С уважением,
директор Хиславичской библиотечной системы
Наталья Ивановна Мироненко
29.07.2021 г.*

ЖИВОЙ УРОК ИСТОРИИ XX ВЕКА

Рецензия

Выпуск книги избранных произведений — серьезный жизненный этап для автора. Особенно когда книга подводит итоги жизни. Отобранные по определенному принципу, эти произведения отражают историю судьбы автора, в том числе и в драматическую пору, когда ценность человеческой жизни чрезвычайно мала. Судьба человека незначительна, когда народы берутся за оружие... К сожалению, Леонид Фадеев не успел завершить работу над составлением этой книги, но, к счастью, она все-таки была издана. Это не просто дань уважения к тому, кто в малолетнем возрасте познал военное лихолетье, но и своеобразное послание потомкам. Автобиографическая книга «Для внуков деревца растил...» раскрывается перед нами столь широко, будто сами слова приобрели качество прозрачности. Так, например, звучит стихотворение «Монолог поэзии»:

Я — ключевая чистая вода,
И — семицветье радуг над мирами,
Я — пядь земли, я — неба высота,
И — вечность, и — людей молитва в Храме.

А правда, в чем назначение поэзии? Не в простоте ли, объединяющей людей? Заметьте, это говорит Поэзия, а не поэт. Стихия, а не человек. И коль скоро автор помещает в один ряд столь обширные, коллективные символы,

нет сомнения в том, что он ощущает себя частицей русского народа, для него ясен ответ на вопрос «С чего начинается Родина?». С отчего дома, с любимой Смоленщины, с тоненькой березки, несущей радость и свет:

Потому березы образ милый
Память русская лелеет и хранит.
И всегда над русскою могилой
Верная березонька стоит.

Береза — один из важнейших символов русской культуры. В некоторых областях Центральной России об умирающем говорили: «В березки собирается». В то же время береза — это нежное, сострадательное дерево. В России с незапамятных времен есть обычай: над могилой погибшего воина посадить березу, чтобы его жизнь продолжалась в зеленом цветущем дереве.

Война — страшное зло и глубокая трагедия. И здесь мотив «капли в море», как в стихотворении «Капля рати», смотрится совсем по-другому. Чувствуя единство с русским народом, автор не только ощущает себя частью великого общества, но и готов разделить с ним все выпавшие на его долю беды и страдания, не умаляя их и не замалчивая:

Об этой капле я забыть не властен —
Рождается с ней русский человек,
И правнук мой не будет безучастен,
Что опален войной был мой век...

Единство книги достигнуто не столько за счет обложки и заглавия, но и за счет подчинения разных литературных жанров общим, вечным ценностям. Вошедшие

в книгу стихи, поэмы, рассказы, очерк, эссе, хоть и написаны поэтом в разное время, но хронологический принцип уступает композиционному. Читаешь — и вот тебе живой урок истории XX века.

Не нужно громких слов. История семьи предстает в виде знания о жизни предыдущих поколений и фиксируется в семейной памяти, которая объединяет членов семьи. Короткий очерк «Мемориал Угранским Хатыням» — об открытии мемориала «Поле заживо сожженных» — напоминает нам о страшной трагедии, о том, через что пришлось пройти нашим предкам. Автор принадлежал к поколению «детей войны» — наших бабушек и дедушек, у которых война отняла детство и близких. На долю этого поколения выпало сиротство, переселение из деревень в города, бомбежки, эвакуация... Не могу писать об этом спокойно. Если сейчас не отдать дань уважения и признательности этому поколению, то они так и канут в небытие без нашей благодарной любви. Тех, кто помог им выжить в страшное военное лихолетье, уже давно нет с нами, но наши старики сберегли память о своих спасителях. Так автор вспоминает о своей бабушке Лукерье в стихотворении, посвященном светлой ее памяти:

Помню пепел военных пожарищ,
Нестерпимую голода муку,
Как бабуля последний сухарик
Сберегала для малого внука.

А мы? Успеем ли мы обогреть своих стариков?..

Проза Леонида Фадеева тоже этична. Даже из полета мухи получился рассказ с философской обеспокоенностью: «Потом муха улетела по своим, интересным только ей делам. А я подумал о том, что вот и лето на исходе, что дни мухи сочтены. О ней я подумал сочувственно, как о своем товарище с его особенной судьбой. И о том, что это крылатое создание успеет, наверное, пускай и за обидно короткий свой век, познать, ощутить светлую радость полета. Может быть, я помог...». Доброта поэта и писателя дают ему силы менять мир к лучшему, оттого его рассказы и стихи звучат искренне и трогательно:

Да — сердце мое — мой живой телефон
И мне одному его слышится звон.
Звонит, и я верю: с добром он спешит,
И радостно мне ожиданием жить...

В сборнике Леонида Фадеева немало пронзительных произведений, которые не оставят равнодушным читателя, интересующегося историей нашего Отечества, проявлениями духа нашего народа, и, конечно, безразличного к будущему России. С уходом одного поколения на смену ему приходит новое, но хочется верить, что лирические герои молодых авторов не утратят важнейших человеческих добродетелей, таких, как мужество, доброта, терпение, любовь к миру и людям.

*Вера Киулина,
литературный критик,
член СП XXI века*

РАССКАЗЫ

ЭССЕ

ОЧЕРК

ВИТЁК

Мальчик — Витёк. Так его зовут с того самого дня, когда мамка Оля, зарёванная и чуть живая, привезла в родную деревню своего внебрачного ребёнка с «ударной комсомольской»... Рахитику ещё не было и года. «Витёк, ты мой горемычный, былиночка моя полевая», — запрочитала тогда бабушка Анна.

В деревне ребёнка выходили, отпоили молоком, благо, корова Лысенка своя. Без Лысенки бы померли. А три года назад после смерти хозяина бабушку Анну взяли школьной уборщицей: школа старенькая, в классе по семь-восемь человек. За работу уборщицы бабушка получала три червонца. С этими денежками, да со своим молочком как-то сводили концы с концами.

Теперь Витьку пошёл шестой год. Плотненький шустрячок, хоть и бледноват лицом.

Витёк восседает за учительским столом. На столе игрушки. Много у него игрушек. Правда, стол высоковат, неловко вытягивать руки, напрягаясь и пыхтя. Но всё же ребёнок приспособливается, чтобы навести полный порядок в своём хозяйстве.

А играет Витёк в солдатиков. Он строит их то в шеренги, то в колонны, то развёрнутыми фронтами, противостоящими один другому. Войска хватает: принёс целый мешочек, сшитый ему бабушкой, да и солдатки — тоже бабушкина работа: когда однажды разобрала холодец, стало жаль выбрасывать целую горущку мелких беленьких суставчиков-мосольчиков. Вымыла, высушила мосольчики поросячьих копытец. А тут и внучок прибыл нежданно-негаданно с зарёванной мамой, с которой жили они в далёком краю...

Витёк, расставив своё костяное войско на гладкой коричневой поверхности стола с чернильными кляксами, командует, как заправский генерал. Поднимает бойцов в штыковую атаку, вводит в бой на флангах пулемёты, артиллерию. Огневые средства, послушные командиру, мгновенно опрокидывают противника, рассеивают его боевые порядки. В этом случае на поле боя такая вот панорама: все мосольчики-солдатики на боку, валяются как попало: символизируя этим самым полное поражение неприятеля. Ему не жаль побеждённых солдатиков.

Больше всего Витёк дорожит в боях двумя большими мослами, которые бабушка вручила ему вчера, сварив ему супчик из говяжьего копыта, добытого бабушкой на колхозной бойне. Вот они, крупные мослы с красными звёздами на боках. Это — два грозных красных танка с героическим экипажем, о которых Витёк иногда браво напевает, слегка картавя:

Тли танкиста,

Тли весёлых друга...

У неприятельского войска такой грозной техники нет и быть не может. Потому Победа всегда за теми, кому принадлежат эти могучие машины. Во всех критических случаях Витёк придерживается простой тактики: как только он видит, что неприятель начинает теснить красноармейские ряды, то немедленно вводится в бой главная ударная сила, сила возмездия — краснозвёздные танки. Они с рёвом несутся на застывшую в страхе пехоту противника, ведя огонь из пушек, поливая из пулемётов свинцовым дождём. Вот и сейчас Витёк так увлёкся очередным разгромом вражеской группировки, что один из краснозвёздных богатырей, утюжа неприятельскую позицию, боднул стоящего на краю стола солдатика,

а тот кувырнулся и слетел на пол, закатившись под одну из перевёрнутых парт. Витьку стало жаль солдатика.

Бабушка всегда, когда убиралась, ставила на попа парты, покрашенные в чёрный цвет, чтобы под ними можно было протереть пол.

Витьку хочется помочь бабушке, но она каждый раз ему говорит: «Нельзя, милоч, ты ещё мал, убьёшься. Вот подрастёшь, пойдёшь в школу и мне будешь помогать. А пока играй со своими солдатиками». Сегодня бабушка ему сказала, вытирая пот со лба: «Пожалуй, и я рядышком с тобой чуток посижу, отдохну. Что-то я умаялась. Я, мой зайчик, скоро закончу. Остался последний ряд».

Вот под такую вздыбленную парту и закатился его солдатик. Витьку не хочется слезать с пригретого местечка, на которое посадила его бабушка, чтобы найти мосольчик. Можно ведь попросить бабушку, которая то и дело шлёпает об пол мокрой тряпкой, плещет водой в ведре в дальнем углу класса, домывая последний ряд.

Витёк медлит с просьбой, он вертит по сторонам своей русой головой, и его взгляд падает на окно, ему кажется, что с улицы окно загорожено такой же чёрной школьной доской, которая занимает почти полстены в классе. Чем-то враждебным и страшным вдруг повеяло от окна. Непонятная робость охватывает мальчика, сидящего на стуле почти не дыша. Солдатик забыт. Ребёнок перестаёт болтать ножками — они ещё не достают до пола — и начинает хныкать; ему надоело сидеть на месте: «Бабусь, домой хочу...».

Бабушки не видно из-за парт, только слышно, как шлёпает тряпка:

— Шшу-ух, шш-ух...

Потом доносится всплеск воды в ведре, бульканье стекающих струек. Витёк знает, что бабушка в эту

минуту выжимает тряпку. Значит, она покажется. Действительно, голова бабушки в жёлтой косынке, из-под которой вылез к уху белёсый пучок волос, поднимается над партой.

Бабушка устало улыбается внуку, проводит по прядке волос, пряча её под косынку, успокаивает ребёнка: «Потерпи, мой мальчик, я скоро заканчиваю. Немного осталось. Поиграй с солдатиками...».

Витёк успокаивается. Он потерпит, конечно, ведь недолго осталось и они скоро пойдут по заснеженной улице домой — на другой конец деревни. Светлый лучик прыгает ему в грудь, когда он думает о доме: мама прислала посылку, а в посылке конфеты... вкусные-вкусные... коровка с рожками на них нарисована... Она похожа на бабушкину Лысенку, только у нашей коровки один рог не вверх повёрнут, а вниз...

Витёк терпит, а вот играть нет охоты. Что-то не нравится ему сегодня это чёрное окно. Мальчик косит глазом на чёрный выем в окне и ему начинает казаться, что оттуда на него уставился красноватый немигающий глаз какого-то зверя. Что-то холодное пробегает по спине ребёнка и он вздрагивает, потом снова хнычет:

— Бабусь, ты сколо?

— Скоро, внучек, скоро.

Бабушкин голос разгоняет чувство страха, которое всякий раз накатывалось, когда Витёк поворачивался к окну. Теперь он решает не смотреть на окно, поворачивается к стене, на которой висит бумага на деревянных рейках, а на ней нарисовано два разноцветных круга с буквами. Витёк услышал непонятное слово, сказанное бабушкой «карта». Он вспоминает это слово и говорит громко: «Калта!»

Ему нравится слово, услышанное от бабушки, когда они первый раз пришли сюда в этот класс, а мама уехала в город — далеко-далеко, куда надо лететь на самолёте.

«Калта», — Витёк снова вслушивается в звук своего голоса, ему хочется спросить у бабушки о карте, но он боится, что бабушка ему ответит, как тогда: «Вот пойдёшь в школу, всё и узнаешь про карту...».

А в школу Витьку хочется. Хочется взять ручку, склониться над тетрадкой и написать какое-нибудь слово... Что бы он написал? Конечно, обязательно написал «мама», а потом «бабушка». Весь его солнечный мир плещется между двумя этими хорошими-хорошими, тёплыми-тёплыми словами. Их так хочется написать! Скорей бы в школу! Только вот не хотел бы Витёк сидеть в таком вот классе с чёрными пугающими окнами, отчего вдруг становится холодно и веет какой-то злой таинственностью.

Похожее чувство он уже раз испытал — когда под вечер бабушка отправилась с ведрами за водой к школьному колодцу, за ней увязался и мальчик. Как только бабушка налила воду в ведра, Витёк подкрался к срубу, наклонился над тёмной дырой и крикнул: «Э-эй!». Из глубины, где в сумерках вечера мальчик еле разглядел глубоко-глубоко светлое пятнышко, ему ответил чей-то незнакомый голос, глухой, невнятный. В глазах полыхнуло каким-то мерцающим блеском — таинственным, страшным. Витёк аж ойкнул, отскочив в сторону, так неожиданным был и бабушкин шлепок по мягкому месту, и сердитый её голос услышал мальчик: «Не лезь, не кличь беды! Я разве тебе не говорила не подходить к колодцу: водяной бородастый цапает загребастыми ручищами.»

— А почему он тебя не цапает? — обиженно спрашивает малыш.

— А потому, что больших он не трогает, деток непослушных только...

Витьку становится страшно. Нет, он не хочет встречаться с водяным. «Я убегу от водяного, он не успеет меня схватить! Ведь, правда, бабуся? Я буду теперь тебя слушаться».

Отгоняя неприятное воспоминание о происшедшем у колодца, Витёк думает о том, что дома его ждут конфетки, присланные им с бабушкой мамой и её письмо, которое он вновь попросит бабусю ему прочитать, А потом бабушка положит его спать и расскажет сказку. Он любит слушать бабушкины сказки. Мальчику надоело сидеть, хочется домой и он решает спрыгнуть на пол.

И вдруг раздаётся стук, что-то ударяется об пол, звякает ведро и слышится всплеск воды. Потом наступает тишина. Витёк думает, что бабушка закончила мыть пол, переставила ведро и стала ставить на пол парты. Но бабушку не видно, жёлтая косынка не показывается. И ребёнок спрашивает: «Бабусь, ты закончила? Сколо пой...»

Витёк не договаривает, на середине слова ему будто кто перехватывает рукой худенькую шейку на горле: он видит на полу лежащие ноги бабушки в стареньких стоптанных сапогах... Мальчика будто ветром сдувает со стула. Метнувшись за торчащие парты, он видит лежащую на полу бабушку, а рядом с головой перевернутое ведро. Бабушкина голова мокнет посередине грязной лужи, а бабушка даже не пытается встать с мокрого места, будто приросла голова в жёлтой косынке к полу. В руке бабушка сжимает серую тряпку.

Витька охватывает панический страх от предчувствия страшной беды, потому он бросается на колени, вырывает из рук бабушки тряпку, отшвыривает её в сто-

рону, тянет бабушку за руку, кричит: «Бабусь, тебе больно? Ты ударилась головкой? Ну, вставай, вставай же, я помогу! Давай же другую руку!»

Бабушка даже не пошевелилась. Неподвижность и молчание бабушки пугает ребёнка, он хватается её то за одну, то за другую руку, лепечет сквозь слёзы, уговаривая её встать. Лицо у бабушки стало белым, чужим. Она смотрит в потолок неподвижными глазами и молчит.

Паника охватывает мальчика, он будто в бреду. Малыш уже не суетится вокруг распростёртой на полу бабушки, а опускается на колени, наклоняется над застывшим и безучастным лицом дорогого человека, на котором ещё резче стала выделяться чёрная бородавка на верхней губе у крылышка носа. На бородавке несколько чёрных волосков... Витёк безотчётно боялся этой бородавки и на эту тему взрослые не раз подтрунивали над мальчиком. Сейчас, стоя на коленях перед лежащей бабушкой, растерянный и подавленный непонятным событием, Витёк решается на самую крайнюю отвагу — он лепечет в лицо бабушки: «Встань, бабуся-я, хочешь, я поцелую твою мушку, я её совсем-совсем не боюсь. Хочешь?..»

Витёк наклоняется, зажмурив глаза, преодолевая страх, целует волосатую чёрную мушку и вскакивает на ноги, будто кто отталкивает мальчика. Только теперь его будто пронзило чем-то острым, приходит догадка о том, что случилась страшная-страшная беда: бабушка уже не встанет...

Он пронзительно кричит, налегает всем телом на классную дверь, распахивает её, и крик отчаяния, рванувшись впереди Витька по гулкому пустому коридору школы, разбивается на мелкие осколки о бетонные стены, пробивается сквозь деревянную коричневую дверь с табличкой «Учительская».

Из двери учительской выбегают двое — мужчина и женщина, спешат к ребёнку. Витёк бежит и кричит сквозь горькие слёзы, которые текут по его мокрым щёкам из глаз, наполненных паническим страхом.

Плач мальчика вырывается сквозь открытую форточку окна, со звоном рассыпается по зубцам нависших над окном сосулук, взлетает в тёмную звёздную глубину зимнего неба. Звёзды холодно мерцают, далёкие и безучастные, равнодушно взирая на затерянную среди снегов деревенскую школу, откуда вырвался в морозную ночь живой горький голос человеческого горя.

Им будто дела нет, что за деревенькой люди протопчут в снегу узенькую тропку к лесному островку, на котором утопи по пояс в снегу, опалённые стужей, но живые сосёнки да берёзки, холодные могильные памятники да железные ограды — стражи праха...

Тропка упрётся в песчаный холмик с деревянным крестом. На той тропке за деревней будет отпечатан детским валеночком след, оставленный Витьком.

На том песчаном холмике белой горушкой прислонились к стойке креста солдатики Витька, оставленные им незаметно, когда он прощался с бабушкой, чтобы они охраняли её покой.

А может, иногда, — думал ребёнок, — бабушка протянет руку и, погладив тёплой ласковой ладонью его войско, беззвучно скажет что-то мальчику — радостно-тёплое, солнечное слово. И Витёк должен услышать это слово, где бы он ни жил на этой огромной и непонятной земле.

БЛИНЫ

Лесная дорога, переползая через колдобины, налитые доверху желтоватой водой, и шишковатые суставы корневищ сосен, вынырнула вместе с нами на зелёный лоскут озими, густой и тучный от избытка силы весенней земли. И мы с мамой увидели хутор.

Двор хутора был огорожен дощатым забором, но не весь: часть двора, к которой приклеились хлев и амбар, обнесена изгородью из жердей с широкими воротами, распахнутыми настежь. Особняком, отступив на свой зелёный пятачок, возвышалось гумно под пирамидальной соломенной папахой, на макушке которой картинно застыл на одной ноге аист в гнезде. И другие постройки, кроме дома, были покрыты соломой. Только высокий из свежеотёсанных брёвен дом фасонился роскошной, из оцинкованного железа кепкой, выступая наполовину из большого сада. На жести плясали блики апрельского яркого солнца, аж ломило в глазах.

Хозяин загнал в будку ошалевшего от злобы пса рыжей масти, привязанного к натянутой от дома до амбара толстой проволоке, привалив окно собачьей будки корытом, подошёл к нам и сказал:

— День добрый.

Он оценивающе взглянул на меня, по его лицу скользнула улыбка.

Он мне подмигнул, будто говоря: «Не робей...»

— Вот привела, — выдохнула мама.

— Мелковат для пастушка... Ну, дык...

Голос её дрогнул, но в это время на крыльцо шустро выскочила с худощавым лицом пожилая женщина:

— Мо зайдёте в хату? — спросила она у мамы.

— Нет, спасибо, я побегу... До свиданьца...

Больше она ничего не сказала, договор с хозяином, наверно, был уже до этого, и, не попрощавшись со мной, повернулась ко мне спиной и пошла, засемила скороходью, ни разу не оглянувшись... (Это был не первый хутор, на который отводила меня мама на заработки).

Я слышал, как вздохнула хозяйка, рассматривая мою босоногую персону в залатанных домотканых брючонках, перехваченных в поясе верёвочкой. Мне, восьмилетнему коржавому заморышу, хлебавшему несоль бездомной судьбы изгнанников, на вид никто не дал бы восемь лет.

Хозяйская дочь, выскочив из дома, поглазеть на пастуха, хохотнула нараспев;

— Рааа-абенький...

Это, наверно, она — высокая и гладколицая, с рокошными волосами цвета воронова крыла, высказалась о моём лице, на котором густо роились веснушки. У меня даже уши были усеяны веснушками. Конечно, я имел жалкий вид доходяги-заморыша.

Неведомо было сытым хуторянам, что на родной Смоленщине хату и нажитый скарб сожгли немцы, выгнали нас из отчих мест и погнали под конвоем автоматчиков... Отец был на фронте. По воле Господа или случая мы оказались в Белоруссии... Мама попыталась было пробить чиновничий бюрократизм, обратившись за получением страховки за погибший в огне войны пятистенный дом. Бюрократы потребовали бумаги, а где их сыщешь, коль архивы на оккупированной территории все уничтожены.

Никто не рассказал этим людям, нанявшим пастушка на всё лето до глубокой осени за два пуда ржи, какой

свирепый брюшной тиф трепал хилое тело мальчонки минувшей зимой...

Я еле сдерживал себя, чтобы не разреветься вслед матери. Хозяйка, добрый, хрипловатый от бурного курения голос которой я помню поныне, взяла меня за руку, привела на кухню и усадила за стол. Перед собой я увидел высокую стопку белых-белых, пышных-пышных пшеничных блинов, большую чугунную сковородку с салом. На сковородке я увидел, что в вытопленном сале плавала дюжина крупных шкварок.

Я замер: такого богатства мне не доводилось видеть отродясь.

— Ешь, Лёник, — ласково сказала хозяйка и вышла из кухни.

Когда она снова пришла, я уже справлялся с последним блином, сковорода сияла наглянцеванным дном.

Я с трудом сполз с табуретки, ощущая туго набитое пузо, отчего на меня вдруг навалилась сладкая сонливость... Я никогда так не наедался.

Меня, выползшего с лентой из сеней на крыльцо, встретил весёлый, лучистый и голосистый весенний день.

И я нисколечко не обиделся на хозяйскую дочь, которая, придя, видимо, на кухню, воскликнула:

— О божухна! Ён укалатил двадцать оладак!

1984 г., г. Минск, г. Москва

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Сегодня — первое сентября. Иду утром на работу, а навстречу спешат три нарядно одетые девчонки старших классов. На них белоснежные передники школьной формы, белые банты в волосах. У каждой в руке роскошный букет цветов.

Следом за ними катится компания крикливых мальчишек в тёмно-синих костюмах-формах с красными галстуками на груди. Они похожи в своей возбуждённости на стаю взъерошенных снегирей.

А вот и ещё один представитель школьной республики — первоклашка. Он не идёт, а шествует в жёлтой, спортивного кроя курточке, конвоируемый сразу двумя родителями. Мальчик крепко вцепился вытянутой вперёд рукой в целый сноп тёмно-бордовых гладиолусов.

От угла дома на перекрёсток сворачивают две девочки с портфелями. На вид — пяти- или шестиклассницы. Идут они не спеша, будто нехотя и по-будничному скучно. Одна, повыше ростом, одетая в поношенное тёмно-коричневое платье, оставляет мне на память обрывок грустного разговора с подружкой:

— ...подбирает в парке бутылки, сдаёт и керосинит снова...

Вторая девочка, одетая в спортивную голубую курточку и тёмного цвета юбочку, молча слушает, склонив голову. Они идут без цветов.

Перехожу улицу и вижу: на углу одного из кирпичных пятиэтажек торчит красный флаг с яркоблестящим, золотистым наконечником, в середине которого выштампован серпок с молоточком.

Все эти быстро меняющиеся уличные картины я машинально вживляю в память, будто складываю их стопочкой поминалок про запас. А одна из них не подчиняется, бузит, силой поворачивает меня снова к дому, и я гляжу на угол дома с красным флагом, шарю глазами по другим многоэтажным коробкам — и нигде не вижу флагов, утверждающих праздник. Он — единственный на всей улице.

Вчера на этом доме флаг не висел, сегодня кумачовое полотно наполняет мою душу тёплым светом, она наполняется чувством удивления.

Мне начинает нравиться поступок человека, которого я не знаю и никогда не узнаю. Но я верю, что это хороший человек, объявивший 1 сентября 1985 года государственным праздником. В единственном числе.

Кто же ты, симпатичный мне человек? А не вчерашний ли ты учитель, а сегодня отлучённый показной чиновничьей заботой о твоём здоровье от своего жизненного дела пенсионер, отдавший свои лучшие годы служению его величеству Знанию, в царство которого ты терпеливо вёл юные неповторимые создания природы, так непохожие друг на друга ни характерами, ни лицами, ни увлечениями, но схожие, быть может, только в одном — в жизнелюбии и беспечности?

А не молодой ли ты претендент в духовные лидеры, рано созревший своей ищущей, жаждущей душой и мудро напомнивший мне и кому-то ещё, уставшим и заезжаным сиюминутной обыденностью о том, что Первое сентября — начало пути к личности?

И ещё, чья рука, — думаю я, идя знакомой улицей, — могла бы вот так, категорично и с намёком на вызов сестры, утвердить на тихой московской улочке в районе Соколиных гор символ вечного праздника, радостное

сознание причастности ко дню, который живёт в каждой живой душе, прильнувшей хоть однажды к неистощимому роднику сокровищ человечества?

Может, моя? Решился бы я, отважился бы я, полвека идущий по бесконечным тропам неведомых маршрутов за счастьем, водрузить однажды без пугливых оглядок, сопровождающих нас всю осознанную жизнь, на своей улице, на углу своего дома красный флаг на обозрение всем ближним и дальним, как откровенный символ бунта против застоя и прозябания?

Не знаю, не нахожу ответа, как поступил бы я, но в любом случае красный флаг, вывешенный на улице принародно в день Первого сентября — был и моим Флагом души, флагом праздника неутомимого искателя, символом вечного движения к манящему куда-то за горизонт райскому саду гармонии и доброты, доверия и человеколюбия.

Свет и тепло моего праздника вовсе не меркнет от того, что сегодняшнее утро Первого сентября, когда детки с просветлёнными лицами торжественно шествуют по улице с праздничными букетами, родилось почему-то блеклым, неприветливым, зябким.

Гляжу на небо, а оно сплошь нависает тяжёлым серым войлоком над серым и грязным войлоком нашей неухоженной улочки. Всю эту унылую серость скрадывают деревья своей густой тёмной зеленью. Кроны почти все зелёные, но зелень их иная, чем весной, — не трепетная, не жизнерадостная, не яркая, а увядающая. Листья как бы угнетены отбрасываемой изнутри невидимой тенью. Потому деревья с виду похожи на человека, стоящего с отрешённым лицом и прислушивающегося к чему-то неблагополучному в себе, к своему тревожному предчувствию, к своей скрытой боли... Налетает

порывистый ветер верховного рождения, всколыхнув, раскачав вершины, шепчутся ветки, мечутся листья друг к другу, будто порываются шепнуть один одному о своей душевной тревоге. Потому шёпот у них глухой, невыразительный.

Я знаю, что это шёпот увядания, прорвавший изнутри ропот о предчувствии близкой разлуки с вольным ветром, с ласковым лучом, с утоляющей жажду росинкой-дождейкой. Это — отмирание ради вечного обновления жизни.

1985 г., г. Москва

МУХА

Она влетела в открытую створку окна, покружилась, присматриваясь и приняхиваясь, и, оставшись удовлетворённой выбором местожительства с учётом дармового стола, бесцеремонно спикировала на тарелку, на которой был разложен мой скромный завтрак.

Я махнул рукой, муха улетела. Её долго не было, и мне показалось, что гостья смылась, раздосадованная моей негостеприимностью. Я ошибся, не зная ещё простой истины: мухи — народ необидчивый.

Сначала она объявилась в то время, когда, отрезав скрыльку хлеба, я положил на стол нож. Муха уселась мне на руку у самого запястья, будто решила поздороваться и познакомиться с хозяином квартиры. От неожиданности я остолбенел, уставился на гостью, соображая, как её прихлопнуть, не спугнув. Не буду описывать чувств, вспыхнувших во мне в адрес этого несимпатичного создания, которому Бог дал невесть для чего крылья. Неужто для того, чтобы она шныряла и шастала по столам и тарелкам, прилетев из какого-нибудь омерзительного места?

Только я собрался прихлопнуть левой ладонью назойливую незваную гостью, как она сорвалась с места и по-хозяйски уселась на краешке разрезанного надвое зелёного огурчика и принялась, не обращая внимания на меня, аппетитно завтракать, тыкая в огурец своим хоботком. Я, уже сердясь, отогнал рукой претендентку в сотрапезницы.

Эта моя решительность, наверно, страшно не понравилась мухе, она рассердилась и избрала, как я догадался, издевательскую тактику с измывательским уклоном. Несколько секунд она носилась взад-вперёд перед

моими глазами, будто раскачиваясь на качелях из угла в угол кухни, потом спикировала на хлеб и почти мгновенно скрылась. А однажды она набралась храбрости и щекотнула лапками мне нос, оставив подозрительную капельку на его тюпке. Это было нестерпимо, и во мне проснулся рычащий зверь. И я вскричал:

— Ах, негодяйка, ах потаскуха помойная, ах, бесстыжая «интердевочка»! Да я проучу тебя немедленно.

Я метнулся в комнату за газетой, свернул её и замер в позе настороженного охотника посередине кухни. Стоял я и зыркал глазами. А муха не появлялась, будто чувствовала мою агрессивность, а мне порой казалось, может, я даже чувствовал взгляд, что она из какого-нибудь укромного уголочка ехидно наблюдает за мной, стоящим в идиотской позе, издевательски хихикает.

Что делать? Не торчать же столбом на кухне, когда завтрак не окончен и пора на службу собираться? Я с трудом уложил свой благородный гнев в торбу терпения, снова сел за стол. Не успел я откусить от огурца, как муха ткнулась откуда-то сверху на тарелку — на то самое место, где только что лежал огурец, оставив капельки сока на фарфоре. Муха снова стала деловито действовать хоботком, слизывая капельки сока. По-моему, это был феномен наглости, основанный на знании психологии человека: муха была уверена, что я ни за что не трахну газетой по белоснежной фарфоровой тарелке, поскольку будет многовато черепков... Потому она спокойно, хотя и торопясь и, наверное, косясь на мою персону, реквизировала долю завтрака.

Я, взбешённый, сорвался с табуретки, спугнув тем самым муху, которая метнулась в открытую дверь кухни и растворилась во мраке прихожей. Я вихрем ринулся за врагом, энергично махая газетой во все стороны перед

собой, выгоняя муху на свет божий, чтобы там, в светлой комнате, с наслаждением расправиться с назойливой особой, претендующей на мою московскую жилплощадь, с чем я был категорически не согласен. Я увидел муху высоко на тюлевой занавеске, у самого потолка и запулил в неё газетой. Газета, спугнув моего врага, это вертлявое чудовище, вдруг застряла на перекладине над окном. Опять невезение.

Тогда я снова крутнулся за второй газетой, решив довести баталию до победного конца. Я свернул аж два экземпляра популярной газеты, газетная хлопущка получилась поувесистей прежней.

Но сколько я ни рыскал по комнате, ища муху, все мои старания были тщетны: муха будто испарилась. Я обратил внимание на открытую створку окна на кухне и решил, что она, прижатая к стенке моей решительностью, уже улетела.

Я взялся за чашку чая, откусывая бутерброд с сыром, и в эту секунду муха — бац на стол перед самым моим носом, приподнялась на передних лапках, будто делая стойку на руках, задвигала задними лапками, потирая одну об одну. Наверно, она помыла их, шустренько вытерла о свои прозрачные крылышки и притихла, уставившись на меня, как бы спрашивая:

— Ты на меня уже не сердисься, хозяин?

Я прямо-таки онемел, уставившись на сорви-голову. И вдруг меня будто пронзил насквозь светлый лучик внезапного озарения: вся картинка была довольно забавной и смешной. Хохот вырвался из меня, как лава из вулкана. Я хохотал, сотрясаясь всем телом, сидя на табуретке, а моя победительница сидела напротив меня и наводила, будто модница, марафет...

Её туалет занял несколько секунд, но за эти секунды меня будто подменили, от агрессивности не осталось и следа, раздражение улеглось. Я вдруг почувствовал, что где-то глубоко в душе проклюнулся росток доброты, согрел меня каким-то особым светлым теплом жизни.

Потом муха улетела по своим, интересным только ей, делам. А я подумал о том, что вот и лето на исходе, что дни мухи сочтены. О ней я подумал сочувственно, как о своём товарище с его особенной судьбой. И о том, что это крылатое создание успеет, наверное, пускай и за обидно короткий свой век познать, ощутить светлую радость полёта. Может быть, я помог...

1986 г., г. Москва

КОЧЕГАРЫ

Поздно вечером, когда Василий дежурил в котельной консервного комбината, Пётр приволок мешок муки. Подмасливаясь, выдернул из кармана куртки поллитровку, сказал:

— Надо б мешочек схоронить.

Но Василий не просто отказался, а будто наотмашь запустил леща мужику:

— Ты, Петро, сам путайся, где хошь, а меня не прихомутывай. Такие штучки при мне — чтоб последний раз!

Знает ли Василий, как полоснуло лезвием злобы по нутру ловкача? Понял ли он, что Пётр никогда не простит ему этих честных слов?

За годы работы в котельной перед глазами Василия промелькнуло добрых два десятка случайных его напарников, некоторые из них скатывались до мизерного заработка из-за пьянства, а другие пристраивались работать на время.

Платили за чёрную работу разве что курице на смех: здоровому мужику, главе семейства, в день набегало почти два с полтиной. По нынешней дороговизне пузырёк бормотухи не купишь!

Единственный напарник, с кем Василий начал второй сезон — Никита. До работы в котельной тот рулил на грузовике, пока не подловил его автоинспектор по пьяному случаю. Видать, думал Василий, что-то где-то заклинило у мужика, коль второй раз права шофёрские забирают. А ведь Никита — проныра, левак, почище Петра, но похитрее: знает он его чуткую вороватую повадку, ведь не один год они на одной улице живут.

Вот Василий и мается на нищенский кочегарский заработок, который как та солдатская шинелька: натянул до бороды — пятки голые, прикрыл пятки — шея мёрзнет. Из этих крох выдёргивают ещё: налог, профсоюзные взносы, рвут без стыда и совести то в фонд мира, то в фонд субботы, то в прорву другой какой-нибудь обдуриловки. Домой Василий приносит каких-нибудь шестьдесят целковых с мелочовкой.

Вчера вечером он сменил Петра. Ночь прошла нормально. Сегодня его сменил Никита. Двое суток Василий будет дома: понедельник и вторник до вечера.

Случайно или по чьему-то велению его дежурства чаще выпадали на субботы да воскресенья. А то и на большие праздники. Но Василий не перечил, привык вроде бы. В такие дни на производстве тишь, всё как бы замирает.

Василий зацепляет кочергой за клямку дверцы и, переломившись пополам, выставив щитком перед лицом ладонь, косит глазом внутрь огнедышащей глотки, соображает:

«Надо пару шуфлей бросить».

Он направляется к тачке с приваренным к ней железным кузовком, катит её по широкой, почерневшей от угля доске к дверному проёму в кирпичной стенке. Там — хранилище угля, если можно было так назвать чёрное крошево, которое доставлялось самосвалами на площадку перед котельной. Отсюда кочегары перелопачивали такое вот горевое топливо в окно подвала, а в подвале с незапамятных времён было установлено два водогрейных котла.

Уголь доставлял массу хлопот, так как плохо разгорался. Золы — гора, а тепла — пшик. А сколько перелопатишь его за дежурство! Даже у бывшего кузнеца Василия, привычного к пуповым нагрузкам, изнуряло

постоянное мытарство с лопатой и тачкой. После дежурства просто отламывались руки. Дома по ночам Василий не раз просыпался от тупой ноющей боли в кистях рук.

Зато случайные его напарники явно сачковали, не скрывая:

«Что мы, дурни — задарма вкалывать!»

А что может изменить Василий, кому может пожаловаться, если в кочегарке вся механизация — тачка да лопата?

Уйти на другое место? А куда? В районном посёлке их комбинат, где в осенний период работало человек полтора, самый крупный работодатель. Да и жена — Маша — в цехе засолки пристроилась. И тоже вручную вкалывает за копейки.

А без тачки Василию было ещё тяжелее.

Раздобыл эту тачку на какой-то стройке его напарник Никита. Хорошо хоть теперь ведрами уголь таскать не надо, а то ведь нужно постоянно ублажать топку, не насыщающуюся ни днём, ни ночью, ни зимой, ни летом.

«Никита — мужик ничего. Жалко, если он отсюда уйдёт. А Пётр — совсем дрянной человек.» — думает Василий, подбрасывая лопатой уголь в топку. Чугунная дверца с вылитым на чугуне словом «заводь» захлопывается. И как раз — лёгкие на помин — в котельную вламываются два его напарника.

— Как борешься тут, ударник? — весело кричит Никита, встряхивая руку Василия. Здороваётся как бы нехотя и Пётр. Василий улыбается своим товарищам, хотя догадывается, какая дорожка привела их в котельную.

— Носы приморозили, холод собачий! Заскочили сюда оттаять, — вновь басит ему на ухо Никита, Пётр же стоит в сторонке, не вступая в разговор, будто посторонний он здесь человек.

— Да проходите, чего уж там, вижу, какое тепло на уме, — смеётся в ответ Василий и добродушно приглашает мужиков в каморку.

— А что нам, лилипутам, — вставляет, наконец, Пётр свою коронную остроу, — нам навалом не надо: дай в одну руку, но каждый день.

Он сам отвечает смехом на свою мудрость, смеётся по-бабьи тонко, с подвыванием. Никита тоже хмыкает, поддерживая самодеятельность собутыльника.

В котельной есть уголок, отгороженный досками. Василий обил доски картоном, притащил старый стол, выставленный из конторы за ненадобностью, смастерил скамейку, пару табуреток. Иногда сюда забегает внучок Сергейка, наклеит какую-нибудь вырезку из журнала, расхохочется и убегает. Все вырезки на тему хоккея и футбола.

— Дед, глянь, вот Марадона, а это — Пеле! А вот — Лев Яшин.

Уголок как бы посветлел от присутствия здоровых, улыбающихся со стен мужиков. Сюда и наострились напарники. Василий заходит следом, убирает со стола раскрытую книжку про войну, суёт её в ящик стола и молча выходит. Он знает, что сейчас на столе появится фаустпатрон бормотухи, хлеб, сало... И вот уже Пётр хватает облапистой ладонью стакан, кивает Никите:

— Будь! Чтоб в кармане «Жигули» на аркане!

Он спешно выливает в горло вино, как в трубу, запрокинув голову.

— Ма-а-а-стак! — то ли с завистью, то ли осуждая, отпускает Никита в адрес дружка. Через минуту Никита снова наливает стакан вина, выходит из каморки, подносит вино Василию.

— Не буду, Никита, не буду! Не обижайся. Ты же знаешь, на работе не беру...

— Угу, знаем! — зло бурчит Пётр, растравливая душу воспоминаниями о мешке с мукой. А Никита всё же пробует уломать товарища:

— Да брось ты валять еньку, ничего с котлами не случится. Глотни, веселей будет!

Василий решительно мотает головой, отстраняет руку Никиты со стаканом.

— Вот пень, ещё ломается... Сколько уговоров! — встречает Пётр Никиту. — Нам больше достанется.

Не вставая с места, он поворачивает голову к двери, кричит Василию:

— Кум, будь здоров!

Ему отзывается Никита, подражая голосу Василия:

— Ага, картошку копаю...

Пётр, давясь смехом, продолжает:

— Много накопал?

Никита отвечает:

— До заморозков успею...

Они одновременно раздражаются гомерическим хохотом и, вскочив со скамейки, вихляются перед столом, хватаясь за животы, отводят душу. Особенно усердствует Пётр. Он говорит Никите:

— Пень пнём, а выкаблучивается, как благородь... Книжечки читает...

Выпив ещё, они снова начинают злословить. Первым, как всегда, затевает новую пакость Пётр:

— Вася, Вася, я снялся ды в кадучечке без дна...

— Га-а? — гаркает басом Никита, передразнивая своего тугоухого товарища. — Ты меня слышишь?

— Куда?

— Да хоть в топку! — взвизгивает, не сдержав смеха, Пётр. Они ржут вдвоём. Пётр аж тает. Будто масло капает в душу, где тлеет уголёк мести.

— Гы-гы-гы — во всё горло заходится он, и слёзы катятся по его толстым и красным щекам.

Допив вино, они встают, шумно выгружаются из каморки и, как добрые товарищи, прощаются с Василием, уходят. Василий улыбается им вслед, незлобиво думает: «Ну и баламуты... Наверняка снова схимичили...»

Эти левацкие дела у них хорошо получались. Никита года три назад построился на той же улице, где живёт Василий. И уже успел укутать вагонкой свою пятистенку, а прошлым летом натянул шифер на крышу. Василий же который год чинит-латает дырявый рубероид, покров-санный ветрами, терпеливо ожидая своей очереди в исполкоме. Но ему каждый год отказывают...

Управившись с котлом, Василий направляется в свой угол, где после незваных гостей остался резкий табачный запах, садится за стол, достаёт чистый тетрадный лист, шариковую ручку и, склонившись над листком, задумывается: с чего начать писать? Как подступиться к узелку, что вдруг завязала жизнь на его новом месте? Не будь этого узелка, он, как говорят, сто лет в обед едва ли вспомнил бы тех людей, сидящих в исполкомовских кабинетах и, живущих какой-то отдельной и непонятной ему, Василию, жизнью, получая на харчи только за то, что настрочат бумажку да отошлют её...

У Василия всё было просто и доступно: взял в руки что-то увесистое, сработал, и людям показать не стыдно. А что там за компания, так и норовящая поперёк других стать? И мысли его вдруг повернулись и потекли в непривычном и каком-то мрачном, грустном русле.

А думал Василий о том, что надеяться ему не на кого, надо рассчитывать только на себя, обходиться своими силами, хоть и шибко трудно. В посёлке родных у него с женой нет. А друзья — кому пригодятся такие горе-

мычные, какими были они с Машей, которые, обживая новое место, живут, перебиваясь с хлеба на квас, с кваса на воду?

И как бы жизнь ни прищемляла ему хвост, он никогда не одалживался, не любил ни у кого кланяться. Что же касается власти, то и с властью у него отношений почти не было, если не считать десятка справок, взятых в сельсовете да в районе, когда свою хатку перетаскивал в райцентр.

И вот сейчас — единственный раз за всю жизнь Василий вынужден обратиться за помощью к власти.

А власть морду свою воротит от их нужды, будто ей дела нет никакого до проблем Василия Демидова. Ну разве не обидно, что отпихиваются от него, не хотят помочь? И порядок завели, как в старину у тех панов: хочю — дам, хочю — не дам.

И Василий, всегда уверенный в своих силах, в своих крепких, умелых руках, однажды заколебался, будто зябко стало под ногами. В душу воткнулась заноза насчёт правильности линии властей. Или он чего-то не понимает, или тут что-то не ладится и идёт как бы поперёк всем его стараниям.

Невесело задумался Василий, склонившись над традиционным листком. Перед глазами вдруг оживает картинка: стоят они с Машей в приёмной председателя исполкома, просят попасть на приём к товарищу Нестерову, а им отвечает молодой отутюженный господинчик, будто в лицо насмешничает: «Мы здесь государственные дела решаем, а вы с такой мелочью к Ивану Петровичу суетесь».

Вроде и вправду совестно стало отрывать большого человека от важных дел.

Ладно уж, думал Василий, потерпят с годик, терпели больше, авось образуется всё. И не ходили они с Машей

по кабинетам, стойко ждали очереди, весной и осенью — в дождливые дни — выставляли по всей хате батареи всякой посуды — тазы, вёдра, склянки: крыша-то как решето.

Разозлившись на свою нерешительность, Василий рубит: «С чего начну, с того и сойдется! Должен разобраться, деньги за это огребаешь поболее моего!» Зло разбирает тихоню Василия, когда вновь он начинает думать о кирпичном трёхэтажном доме с мраморными серыми ступенями парадного крыльца, откуда вот уже восьмой год, всегда перед весной, приходит ему по почте конверт с недоброй казённой бумажкой в пол-листа. А в бумажке несколько казённых слов: «Исполком сообщает, что Ваша очередь на шифер триста десятая».

Когда Василий через год получил уведомление и понял, что очередь не только не уменьшилась, а наоборот увеличилась и он почему-то оттеснён дальше, то рванулся в приёмную. Но когда его там рассердили фразой о героях и инвалидах войны, имеющих льготу на внеочередное получение шифера, Василий разозлился не на шутку:

— Дык что, мне сгинуть, ежели я не герой? Дык что, я не человек, ежели руку и ногу на фронте не отбило?!

Он и ещё что-то кричал в приёмной председателя, пока не появился сбоку рослый милицейский сержант да не вертухнул за спину ему правую руку — больно и обидно, как будто хулигану. Свирепый сержант, выслуживаясь, взашей вытолкнул Василия на мраморные ступени крыльца. Василий побрёл домой, будто слепой, прошептал сердито: «Гори ты гаром, ноги моей здесь больше не будет!»

И когда случалось ему бывать на площади мимоходом, он с неприязнью и демонстративно отворачивался от родной советской власти, поселившейся в белокаменном особняке под добротной шиферной крышей.

Сюда, на площадь, с тыльной стороны ступала робко и неуверенно их Пушкинская улица, которая была сплошь в колдобинах да рытвинах, которые не всегда высыхали даже летом. Ранней весной да осенью в дожди сюда не сунься, здесь в грязище могло засосать даже танк. А каково жильцам, которые постоянно обращались в исполком с просьбой отремонтировать дорогу, но власть оставалась глуха к мольбам простого человека.

А как быть, если вдруг беда со здоровьем и нужно вызвать скорую помощь? А как подвезти к хате топливо или ещё что-то тяжёлое? Вот так жили-горевали.

Не раз Василий за свою поселковую жизнь ступал на ухоженную площадь со своей улицы — Золушки, носящей по чьему-то тёмному недомыслию имя русского гения Пушкина.

Да, по-разному относились они к центральной площади: Василий не уважал этого роскошного пятака, а его улица, наоборот, по-детски простодушно радовалась чужому счастью, наивная и обречённая. Она резво взбегала на чужой асфальт и каждый раз отдельно от Василия восхищалась роскошью и простором исполкомовско-райкомовской тверди, доверчиво прильнув своей неумытой сиротской щекой к нарядному плечу своего тайного предмета обожания.

Разве не мечтала бедная улица о том долгожданном дне, о том счастливом дне, когда ей примерят новое нарядное платье?! Она страстно мечтала об этом светлом дне еще и потому, что душа ее устала от проклятий забытых Богом и властью жителей, спотыкающихся о рытвины и ухабы в ночной темени. Она, приютившая таких вот, как и Василий, бедняков, была похожа на деревенскую, где стоял родительский дом. На улице такие же — то из досок — горбылей, то из штакетника — заборы,

за которыми прячутся хлебочки, баньки, погреба. Но есть здесь и заборы высокие, в два человеческих роста, размалеванные эмальями и кое-где ощетинившиеся гребешками колючей проволоки.

С тех самых пор, когда Василий стал ходить по посёлку с болью не только в вывихнутой милицейским сержантом правой руке, но и в душе, с ним рядом стала ходить глухая, проросшая из тяжких дум, — злость, переходящая в стойкую неприязнь к этой вот надменной выгороженности поселкового центра, где чуть в сторонке от парадных подъездов особняков были выставлены радужно раскрашенные большущие щиты.

Щиты кому-то рассказывали, кого-то убеждали, что партия ведёт народ к изобилию и процветанию.

А щитам и дела-то не было, что в нескольких шагах от них текла стороной непридуманная жизнь, унижительная жизнь в вечных проблемах купить-достать кусок мяса, пачку соли, сахара или масла, пакет крупы — не чего-то исключительного, а самого-самого необходимого, чтоб тебя на работу носили ноги.

И в довершение всего как бы в насмешку над здравым смыслом местные пропагандисты года два назад взгромодили на крышах особняков метровые буквы: «Слава КПСС», «Партия и народ едины», а в каждую букву ввинтили разноцветные лампочки Ильича. И приказано было всему этому занять самое высокое место в посёлке и назойливо лезть в глаза каждому жителю.

А тихоня Василий со своим крестьянским долготерпением успокаивал, как мог, зарёванную Машу, просил не расстраиваться, не нервничать, побереечь себя для деток, когда та перед праздниками возвращалась из магазинов с пустой авоськой.

— Проживём как-нибудь, жёнушка, это же не голод. А недостатки разве одни мы терпим? После войны, помнишь, тяжельше было, а выжили...

Василий помнил, что десять лет назад можно было купить головизну или говяжьих копыта. Маша холодец варила, а сейчас нет и костей, ни мяса. А не будь кабанчика, которого удавалось иной год пудиков на шесть поднять? А не будь коровёнки, да десятка хохлаток, да огорода за хатой? Что тогда? Тогда хоть по миру иди, хоть ложись да помирай.

Уже здесь — в районном посёлке — открылась Василию нежданная логика государственного устройства: живёшь ли ты, умер ли, есть ли у тебя в доме кусок хлеба — всем чиновникам полное наплевать. С них спрашивали за бумагу, машину, за ферму, за гектар, а за человека не спрашивали. И всякий раз, когда на Василия лезли, будто слепни-оводы, метровые буквы, застылся здравый смысл содеянного.

Даже ему, малограмотному в этом смысле, было ясно как дважды два, что не может быть речи о восхвалении партии, коль ни гвоздя, ни доски, ни кирпичины, ни куска мыла днём с огнём по всей округе не сыщешь. Рабочий народ дороговизна с ног сшибает, заработки, скажем, у кочегара за два десятка лет ни на рубль не повысились.

Так тяжко, так пакостно стало на душе у Василия, когда он нечаянно уловил тактику обмана: чем беднее становилась жизнь людей, тем громче вещалось об успехах, тем ярче размалёвывались витрины магазинов, улицы украшались лозунгами да транспарантами.

А прошлым летом произошло следующее: у Василия тогда выходной случился. За ним прислали сторожа с наказом срочно явиться на районную площадь. Пришёл. А к площади пионеры нарядные в колонны стягиваются, людей из окрестных сёл свозят на машинах, из контор

выпихивают сюда народ. «Видать, митинговать собираются...», — подумал Василий, пристраиваясь под молодым клёном у бетонного забора, которым были обнесены исполкомовский и райкомовский дворы.

Кленок только оперился листочками, отбрасывая тень, загораживая Василия от яркого майского солнца. Отсюда удобно просматривалась площадь. Перед райкомовским особняком он вдруг увидел громаду с накинутой на неё попоной. «Памятник открывать хотят», — догадался Василий.

Рядом с памятником толпилась кучка нарядных мужчин, одетых в дорогие костюмы, шляпы, белые сорочки с яркими галстуками. Начальники улыбались, что-то говорили друг другу, хлопали в ладоши.

И вот сдёрнули попоны: на высоком пьедестале, облицованном розовым мрамором, стоял бронзовый Ленин с вытянутой вперёд вверх голов рукой. Василию на миг показалось, что Ленин только что вышел из райкомовского особняка, окружённый прилизанными, откормленными начальниками, и, сойдя с мраморных ступенек, взобрался на каменную трибуну, чтобы бросить в толпу зажигательное слово и, чтобы Василий смог вернуться к своей вере, неожиданно покинувшей его.

Но Ленин молчал. Говорили те, кому жить было хорошо и без правды.

Василий подумал: «Ну и баламуты! Наловчились обдурять...»

Может быть, этот случай и не засел бы так прочно в его голове, если бы не история с Иваном Пупком, о которой знал весь посёлок. Иван сторожил исполкомовскую территорию. Служил исправно. Да вот после того митинга сузилось над Пупком родное небушко, поплыли тучи по нему чёрные... Летом Ивана Пупка вдруг уволили. В двадцать четыре часа.

А вся эта канитель с увольнением случилась после того, как Пупка заставили пасти голубей, ворон и шkodные воробьиные ватаги, которые с первого дня норовили обжить памятник, оставляя на голове и плечах следы помёта. Первую драматическую взбучку Иван Пупок получил за своё явное политическое недомыслие, выразившееся в халатном исполнении сторожевых дел.

В тот злополучный день в посёлок прикатило на чёрных лимузинах высокое партийное начальство из области.

Секретарь обкома партии, перед которым становился навтыяжку весь служилый люд губернии, неожиданно стал свидетелем местного конфуза: в тот момент, когда высокий чин вылез из своей роскошной «Чайки», на голову бронзового вождя взгромоздилась откормленная на свалках ворона и бесстыдно какнула на лысину. Испепеляющая молния гнева сверкнула в глазах партийного босса, но ворона не только не среагировала на великий гнев, а бесцеремонно отвернулась задом к кавалькаде.

Ивана Пупка уволили с нарушением трудового законодательства и он обратился в суд. Но там его бумагу отказались принять.

Правда, Пупок вскоре утихомирился, его снова попросили сторожить исполком: на мизерную зарплату не нашлось другого охотника во всём посёлке. Пупок даже выгадал малость на вороньем бесстыдстве, приторговав дополнительную пятёрку к получке. И, когда начальство снова заставляло сторожа на халтуре, он всякий раз отделялся выговором с последующим предупреждением.

Про свой десяток выговоров с последующим предупреждением по случаю неразумности пернатых исполкомовский сторож рассказывал хлёсткие анекдоты, мужики потешались.

Пупка пригласили к уполномоченному КГБ. Бдительный охранник власти усмотрел в рассказах про ворон и воробьёв злостную антисоветскую клевету, подрывающую авторитет государства развитого социализма. Само собой, Пупок молчал о своём последнем приключении, но в посёлке даже такие засекреченные новости разносились с быстротой радио, тем более что человек служил в «самом исполкоме».

Стоит хоть чуток против начальника ступить, власть тут как тут. Ворон ворону глаз не выклюет.

И Василий вновь вспоминает свою деревню. В их Борках не то десятый, не то двадцатый председатель колхоза, которого, как и прежних, райкомовцы привезли. Боевой был парень, шустрый такой! Всюду сам успевал, всем задачки сам раздавал. Дурь штабная из него так и бычилась. Люди втихую посмеивались. А тут не до смеху стало: комсомольцу взбрело в голову показательную деревню отгрохать, чтоб всю окрестность удивить. Власти поддержали идею...

Может, и Василий пожил бы в обещанном райском саду, да вот председатель вконец засамодурничал, распорядился, чтобы все жители деревни сдали на мясо своих бурёнок и другую живность, поскольку хлевушки да сарайчики жалкие портили председателю картину светлого коммунистического будущего. Первым делом свой кавалерийский наскок председатель совершил на конторские ряды, где супружница Василия — Маша работала счетоводом с добрый десяток лет. Собрал он управленцев, объявил волю свою. А Маша, выслушав председателя, высказалась напрямиком:

— Не сдам... У меня дочка в техникуме учится, помогать как буду?

— Нам доверен эксперимент государственной важности, а вы с мелочью в глаза лезете, мешанство разводите!

— Мещанство тоже есть хочет. А где мясо да молочко брать? В Москву ездить? — бойко вступила Маша в пререкания.

А председатель рисовал молочные реки да кисельные берега:

— Молоко и мясо будем выписывать... Столовую свою откроем. Асфальтовые улицы проложим, сады посадим.

На Василия он также набросил узду: закрыл бригадную кузницу, чтоб не портила вида при въезде в деревню. И кузнице снесли бульдозером, а на заявлении Василия председатель бухнул такую резолюцию: «Колхозника Демидова послать скотником в бригаду номер один. Навечно. Подоляк».

Василий с Машей поехали в райком партии. Их там внимательно выслушали, пообещали разобраться. Дело было к зиме, а весной Подоляк приказал обрезать участок по самые углы...

Сегодня, когда на комбинате выходной и работы в кочегарке поубавилось, Василий решился на новое заявление, но уже на имя самого высокого начальника. Он пишет: «Председателю райисполкома Нестерову.

Председатель, помоги мне шихеру на хату достать крыша уся разваливается, течёт, грибок пол сожрёт в сырости. Денех на доски где узять получка шестьдесят рублёв так что лишней копейки нету. Вон внука растим а помощи ниоткудова. Очередь на шихер упёрлась проклятая не движеца с места восемь годков так помру не дождавшись...».

Василий ощущает, что взмокла спина, как щекочут капельки пота на верхней губе у носа. Он смахивает пот, снова склоняется над листком, читая выведенное каракулями с самого начала, то и дело спотыкаясь, пыхтя, будто пробирается сквозь густые заросли, шевелит

губами. Читая, он чувствует, что не туда уводит обида, что его может не понять товарищ Нестеров, на которого только и осталась надежда. Очень надеется Василий на председателя районной власти, от которого всякими приёмами правду загораживают...

И он заканчивает своё заявление такими словами: «А для сведений сообщая што буду справно кочегарить хоть плотють мало пользуйтесь моим теплом ежели летась подключились к нам. А мне вот бы шихеру достать крыша как решето весной потечёт, говорить я не инвалит войны а какая разница председатель пуля немецкая и меня грызла покалечила так что кто инвалит войны надо поглядеть. Проситель Василий Демидов 198... год».

Подумав с минуту, Василий решительно выводит: «ударник камунизма и победитель соревнования». И рассуждает, что кашу маслом не испортишь, что к передовикам они вроде получше относятся:

«И чегой-то я раньше не удумал про ударника описать?! Скоро у меня энтих значков целая горсть будет. Ежели Сергейка не похозяйничал...».

Василий достаёт из стола свою книгу, открывает обложку и берёт конверт, на котором загодя выведен круглым детским почерком адрес. Василий сворачивает листок пополам, всовывает в конверт и, лизнув его вдоль желтоватой полоски клея, начинает тщательно разглаживать конверт своей большой лопатистой ладонью.

В душе горит надежда, что председатель райисполкома поймёт работягу, войдёт в положение человека, у которого нет нормального угла для жизни...

* * *

Василий сидит на кухне перед окном. На самодельной скамье сапожный арсенал: молоток, клещи, жестянка с гвоздями, шматки кожи и резины, железная лапа. Всю обувь Василий чинит сам. И, найдя вольный часок, сегодня решил подновить каблуки своих кирзачей, потом надо починить и ботиночки внука, у которого обувь как на огне горит.

До вечера, когда надо отправляться на дежурство, можно управиться с делом, вот и внучка всё ещё нет из школы. И Василий не спешит, аккуратно подгоняет каждую набойку, ловко вколачивает молотком гвозди. Между этим неторопливым делом и думки снуют не спеша. «А что ежели Виктору написать про обиду свою, он же партийный секретарь, небось видются с Нестеровым на разных там собраниях?.. Не, лучше будет, если Гальке, а яна сама догадается Виктора попросить. Сестрёнка жа Маши моей...».

От этих неожиданных мыслей на душе делается веселей. Из окна на руку прыгает луч, теплит ладонь почти по-весеннему, хотя за окном морозно.

Как и в деревне, Василий держит говяду, а летась подфартило поросёнка приобрести. В мешке через плечо приволок его от автобусной станции, проведав дядьёв в родной деревне и выложив за трёхнедельного визгуна две своих полочки. Пришлось всю весну и лето поджимать животы, на Машины заработки не разгонишься — быть бы живу. Что получше, понятно, Сергейке: школьник уже, трудно ему с вольницы вольной да в хомут сразу, не отоцал бы. От дочки помощи не жди, сама ждёт, чтоб пособили батька с маткой. Привезёт что-нибудь к чаю — и за то спасибо. Она после техникума на телеграфе день при дне голову клумит, а больше

сотни никогда не выводит. А как прокормиться с дитём, от которого отец сбежал, до разводов докатился?

Да уж не убоялись трудностей, выкрутились с Машей, поскольку дело-то привычное по части блюдаения копейки. Припасённые на крышу рублики — за семью замками, про них и думать забыли.

Не дал он летась промашку и с огородом: под картохой почти весь участок земли заняли, только пару грядок под овощ выкроили. Сотки те приусадебные на их труде — вон как славненько уродили! Мешков тридцать нарыли. С картохой да огурчиками кой-как управились, а к зиме полегчало малость. Да и Маша старалась — в самый сезон лишнюю пятёрочку прирабатывала: на комбинате осенью работы под завязку, хоть день и ночь вкалывай.

Не сплеховал Василий и по грибной части: осенние грибы таскал корзинами. Вон пятиведёрную кадку натоптали — с чесночком да укропчиком, палец откусишь. Февраль уже с глаз долой, а у них с Машей добра лесного полкадки осталось. Вот так-то.

Само собой, хозяйство держится на его, Василия, руках: иль сена добыть, или участок да огород до ладу довести — это его первое дело. А напоить, накормить скотину? Практически всегда он. У Маши работа посменная, да и по дому дел полно, а он, Василий, сутки дежурит, а двое дома. Да и главное, не на виду людском его физические изъяны: левое ухо не слышит, да и в правом жизни осталось с комариный укус. А ведь могло бы и самого не быть...

Сколько лет минуло, а помнится — будто вчерашнее. Июньским ранним утром немецкие каратели окружили деревню Борки, стали в хаты врываться, жителей, в основном стариков, женщин, детей, на улицу прикладами выталкивать. Кто пытался бежать к лесу, того пулями

доставали. Остальных согнали на конец деревни, разбили на две группы: мужчин и мальчиков повели к ветряной мельнице в поле, женщин и малолеток заперли в колхозной конюшне. Стали поджигать хаты. А тех, у ветряка, поставили спиной к стенке и прошили из автوماتов. Среди этих людей был и мальчик Василёк.

Васильку будто поленом садануло по ноге, и он упал. Рядом с собой мальчик услышал чей-то стон. Он открыл глаза и обмер: немецкий офицер, наклонившись над раненым дедом Степаном, колхозным конюхом, ткнул ему в ухо маленький, будто игрушечный, пистолетик и выстрелил. Немец добивал раненых.

Подняв голову, фашист увидел распахнутые ужасом глаза мальчика и, оскалившись улыбкой, шагнул к Васильку, держа в вытянутой руке свой пистолет. Ребёнок выстрела не услышал. Но в тот момент, наверное, когда до уха дотронулся металл, Василёк дёрнул головой, пуля скользнула по кости, срикошетила в рот, но не задела мозг.

Мальчик лежал у мельницы вместе с другими расстрелянными мужиками, пока каратели, спалив полдеревни, не ушли. Мать, голося и причитая, склонилась над неподвижно лежащим сыном и вдруг своим материнским сердцем почувяла, что её сыночек, её Василёк ещё жив. Потом долго боролась за его жизнь. Выходила, поставила сыночка на ноги, но ребёнок почти оглох. Из мужиков, расстрелянных в то военное лето у ветряной мельницы, только один малый ребёнок — Василёк — случайно уцелел ...

— Вася, погляди-ка, кто к нам! — кричит с порога Маша, врываясь на кухню.

Василий, отложив занятие, поднимается навстречу невысокому худощавому мужику в зимнем дорогом

пальто и меховой добротной шапке. Тот смотрит на Василия из-под широких кустистых бровей, чуть тронутых инеем седины, и широко улыбается.

— Виктор?! Здравствуй, свояк! Не ждали мы тебя и вправду.

Василий ступает к гостю, который успевает поставить у ног чёрный походный чемоданчик, хватая обеими руками его холодную с мороза ладонь и трясёт, приговаривая:

— Ну молодец! Какими ветрами занесло? Почему без Гали?

— Да не держи ты человека на кухне! — вмешивается Маша, дёрнув мужа за рукав.

— Виктор, проходи в комнату, раздевайся, а я на стол соберу.

И Маша начинает бегать по кухне, суетиться, гремя посудой.

— Сколько же это мы не виделись? — будто себя спрашивает Василий, радушно улыбается гостю, когда они садятся у стола на сработанные Василием табуретки. И сам же отвечает: — Да лет пятнадцать будет... На Светланкину свадьбу заявили и больше носа не показывали... Ты, кажись, тогда на Витебщине секретарствовал? Чего молчишь да улыбаешься? Расскажи мне, как детки годуются? Как Галя? Не болеет? И почему не пишете писем? Говори громче, не чую.

— У нас всё нормально, Вася! — кричит гость в ухо свояку. — Обожди минутку.

Он встаёт с табуретки, подходит к своему походному чемоданчику, приткнувшемуся в углу хаты рядом с вешалкой, нагибается над ним и достаёт оттуда какую-то коробочку. Василий молча следит, ничего не спрашивает.

— Сиди, не вставай, — говорит гость, буду его настраивать, а ты говори нам, когда начнёшь слышать. Маша, говори что-нибудь.

— А что говорить?

— Да что хочешь, хоть пой, — шутит гость, пристраивая полуподковку за ухом у Василия и прикручивая крохотной отвёрткой винтик.

— Ой, слышу! — вдруг орёт во всю мощь своего голоса Василий, аж стекло дребезжит в окне. Гость еле успевает подхватить слетевший аппарат, когда Василий неожиданно вскакивает с табуретки.

— Я просил тебя, Вася, сидеть смирно, — сердито выговаривает Виктор и снова склоняется к Василию.

— Вот и сиди так, не шевелись. А теперь отвечай спокойно, слышишь ли какие звуки?

— Нет, ничего не слышу, полная тишина, — робко, как школьник, только что провинившийся перед учителем, отвечает Василий.

— А теперь?

— Н-н-ет... Погодь-ка... Шумит что-й-то. Ага, слышу... Это Маша говорит. Ой, очень громко! Как молотком по голове бьёт... Ага, ага... Вот так ладненько... Каждое слово и твоё, и Машино чую. Чудно как! А не часы это наши на шкапу тикают? Часы! Тик-так, тик-так.

Виктор закрепляет привезённое своё чудо за ухом свояка, говорит:

— Вот и всё, Василий, считай сегодняшний день — днём твоего рождения. Можешь встать и пройти по хате, стоя послушай нас. Смелее, смелее!

— Ой, у меня что й-то стало в голове кружиться, — встав с табуретки, сказал Василий.

— Не беспокойся. Так будет несколько минут, пока голова привыкнет к звуковым волнам. Головокружение пройдёт... Ну как? Хорошо слышишь?

— Аж не верится, Виктор! Не сплю ли я, не чудеса ли серед дня белого?! — кричит снова Василий, увлечшись и забыв, что теперь кричать не надо — надо отвыкать от своего крика, рождённого глухотой.

Он пугается своего громового голоса, будто боится, что аппарат может не выдержать такой нагрузки и сломается. В эту минуту он замечает стоящую на пороге присмирившую жену, резко поворачивается к ней, из рук Маши со звоном падает на пол тарелка и разбивается на мелкие кусочки. Василий слышит звон разбитой тарелки, смеётся и говорит:

— Во, к счастью, значит...

— К счастью, Вася, к счастью, — радостно соглашается Маша и неожиданно всхлипывает.

— Я всё слышу, как молодой, Машенька...

На Василия вдруг наплывает что-то тёплое и нежное, на миг как бы окатывая волной с ног до головы, толкает к Маше. Он обнимает жену за плечи, прижимает её к груди. Маша снова всхлипывает, не стыдясь перед гостем своих слёз.

— Маша, я слышу... Всё чистенько слышу, даже как часы тикают, — бормочет Василий, будто во хмелю, — Ну скажи мне что-нибудь, спроси, я отвечу.

Он обнимает Машу, забыв про гостя и про всё остальное, что деется на белом свете. Он просто потрясён новым ощущением жизни, не стесняется своей проявившейся нежности к жене.

Маша первая берёт себя в руки, застеснявшись мужского порыва Василия, старается перевести разговор на шуточный лад:

— Ну что тебе сказать, дурень ты мой родной?! Ступай к Виктору да скажи ему хоть слово, поблагодари его, а то забыл небось на радостях о госте нашем дорогом, который, наверное, с голоду помирает...

— А я и вправду забыл, ну и дурень! — Василий виновато моргает, поворачивается к Виктору, сияя лицом.

— Тут, Виктор, мне, спасибо не отделаться... Знаю, штукавина эта дюжа дорогая... Удружил ты мне радость большую, свояк, спасибо тебе с поклоном! — Василий порывисто хватает правую кисть гостя и с чувством трясет её, заглядывает в глаза Виктору.

— Ой, руку раздавишь, больно, — притворно трясёт освобождённой ладонью и дует на неё. А потом, посерьёзнев, добавляет:

— Не говори так, Вася... Штуковина, как ты говоришь, действительно добротная, но она мне без труда досталась. Под Новый год меня в Японию посылали... Межпартийные связи, так сказать... Вот и присмотрел я там подарок тебе. У нас в Москве нет такого. Посмотришь в зеркало, даже не заметишь её за ухом.

— Ай-яй-яй, как ладненько. Вот это головы, а? Невжели наши инженеры не додумались, Виктор? Сколько годочков тужимся, а ничего людского нету.

— Не могло быть, Вася. Не про людей думали, олухи. Хоть поздно, но спохватились. Ты-то газеты почитываешь, Вася?

— Ага, читаю. Бають про перестройку. А у нас тут жизнь прежняя.

Ведя беседу со свояком, Василий отчётливо слышит каждое слово. Прошло головокружение. Чтобы проверить ещё раз чудо заморской техники, он снова встаёт и подходит к шкафу, где наверху, рядом с будильником,

теперь звонко тикающим уже и для Василия, белеет пластмассовый радиоприёмник.

Василий щёлкает кнопкой.

И как по-волшебству в комнату, будто цветная синица, впархивает песня. Мелодия завораживает, окутывает его, и он замирает, затаив дыхание. Повернув просветлённое лицо к приёмнику, Василий всё ещё никак не в силах до конца осмыслить происходящее с ним. Плавная задушевная мелодия популярной народной песни о ямщике, замерзающем в глухой степи, берёт его в плен, потрясает глубиной и правдивостью человеческого чувства, переданного музыкой и простыми немудреными словами.

В ответ в его душе поднимается чувство жалости и сострадания к несчастному ямщику, оказавшемуся в беде. Он стоит, не в силах отделаться от переживаний. По его изборождённому сеткой морщин лицу текут слёзы. Василий их не вытирает, будто и не чувствует он их на щеке. Он весь там, рядом с песней, далеко-далеко за родным порогом, где так же живут вперемешку счастье и горе, радость и слёзы, добро и зло..

Василий не замечает, как Маша накрывает белой льняной скатертью гостевой стол, приносит из кухни и ставит на стол небогатую их закуску — нарезанное ломтиками сало, сковороду с яичницей, глиняные миски с солёными огурцами и грибами, с дымящей разваристой картошкой.

Маша не трогает мужа, понимает своей женской мудростью, что происходит в душе у Василия. Потому тихо подходит к нему, замершему у приёмника, обнимает за плечи:

— Иди за стол... Твою обнову и твоё состояние и sprыснуть не грех, а? Как ты на это смотришь, Виктор?

— Да уж греха не будет, — с улыбкой отвечает гость.

Маша радостно бежит в сенцы, в свой закуточек, который у каждой женщины есть на всякий случай. И через короткое время — шлёп на стол поллитровку водочки.

Обедать садятся втроём: Сергейка задерживается в школе. Гость то и дело нахваливает вкусное с мороза сало, причмокивает от удовольствия, когда отправляет в рот желтоватые пуговки грибов, восхищается крупной разваристой картошкой.

Хозяева, сначала застенявшись бедности своего стола, начинают верить, что и вправду обед удался на славу. Они всё сильнее проникаются родственным чувством к гостю, насаждают более смело и решительно с чаркой на Виктора, а тот, улыбаясь, терпеливо отбивается, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

— И чего й-то ты, Виктор, зимой в санаторий удумал, да ещё наши места берложные выбрал? — спрашивает Василий.

— Не такие уж, Вася, ваши места берложные... Зато какие дары природа-матушка открывает! Вот и водичку целебную нашли, пожалуй, получше трускавецкой. Люблю я эти места с юности, особенно сейчас, когда в Москву перевели, так скучаю по тишине и первозданности уголка нашего. Летом мы с Галей собирались к вам нагрянуть...

— Дык ты уже в Москве? А мы ничего и не знали.

— В Москве я, Вася, второй год уже живу... Завертелись мы с Галей... Но поверь, я не забывал про вас. Вот видишь, я даже в Японии о тебе помнил и о беде твоей не забыл.

— Спасибо, Виктор! Добрая штука. Быдто заново родился.

— А я в город ни в жисть бы не поехала! — воскликнула Маша.

— Ну и Маша! А это тебе не город? — посмеивается в ответ московский гость.

Он безобидно пошучивает над ними, неторопливо рассказывает о столичной жизни. Его часто перебивает то Маша, то Василий, а он отвечает им, радуясь этими бесхитростными сердечными людьми, перед которыми не надо ни хитрить, ни осторожничать, как там, в тишине и ковровой глухости номенклатурных кабинетов.

Виктор помнит сердечность и доброту этих людей с тех пор, когда робко переступил порог их деревенской хаты, где нашёл своё счастье, как провёл он свой медовый месяц с Галей среди незабываемых запахов, источаемых сеновалом на чердаке дома. Он видит и понимает, как рады неподдельной радостью эти простые люди от его неожиданного появления в их хате, как преобразается Василий от новизны ощущений.

Этот уже немолодой человек как будто заново открывает для себя огромный мир звуков.

Более сорока лет почти полной глухоты поселили у Василия какое-то странное чувство своей неполноценности, от которого просто невозможно избавиться: этот физический изъян уводил в изолированную от знакомых жизнь, прошло ведь всего два часа с тех пор, как чудесный аппарат подарил ему счастье нормально общаться с людьми, а Василий уже ощутил, что и слова у него в разговоре иными стали, и голова посвежела, будто исправнее заработала. Ни минуты не колеблясь, Василий спросил гостя напрямиком:

— Скажи, Виктор, а ежели ты нашему Нестерову что-нибудь приказал бы, он бы тебя послушался?

— Ну, приказывать я не имею права, но просьбу работника ЦК партии, я полагаю, он не должен забыть.

— Так ты теперь аж в ЦК?

— Да, Вася, пригласили меня туда на дела сложные, большие. Ума не приложу, как вернуть то, что потеряла

партия в глазах народа. Душу она свою растеряла, на побегушках у ведомств состояла, понимаешь, Василий...

— А чего же не понять? Все безобразия на наших глазах проходить. Прислуживают один одному, рука руку моет. А нам хвать плачь. Поверишь, восемь годков шихеру не допрошусь с исполкома, вот и написал самому Нестерову... Опять отказную прислали. Героям дают, инвалидам войны дают... А меня просто замучили отказами, ироды...

— А расскажи, Вася, как тебе милиционер руку выкручивал, — подсказывает Маша, выплёскивая этими словами всю горечь обиды за унижения и оскорбления, пережитые недавно.

— Да не стоит вспоминать, болячку трогать. Ты, Виктор, лучше вот эту, последнюю бумагу погляди. Сам Нестеров подмахнул.

Василий встаёт из-за стола, подходит к шкафу и достаёт конверт.

Виктор читает, хмурясь, потом говорит:

— Да-а. Обыкновенная отписка, Вася. Кому-кому, а тебе нельзя отказывать. Ты в войну пострадал от немцев, хоть формально — не участник боёв. Вашим конторщикам, как я погляжу, не человек важен, а бумажка о человеке.

— Виктор, а что, для власти, для таких, как Нестеров, мелкие люди, такие, как я, — только помеха вершить большие дела, выгодные в первую очередь им, а здесь мы — ходим да ходим со своими просьбами. Фашистов выдюжили, а это ведь свои... Издеваются над беззащитным человеком, просто уже нет мочи. Раздражаем мы их. Ой как тяжело, обидно мне, как болить сердце!

— Ну успокойся, Вася, и не всё так безнадежно, как тебе кажется, и на таких, как Нестеров, найдётся управа, — пытается успокоить свояка Виктор.

Но Василия остановить невозможно:

— Мне, Виктор, часом сдаётся, что люди будто одурели, свой на своего — рычат, кидаются, готовы загрызть друг друга. Ни сочувствия, ни помощи, ни жалости. Как вынести такую свару? Знаю, что всё это происходит от внутренней скудости, от бедности, от вечного — как прокормить семью, повольней живётся тем, кто побогаче, и поэтому часто происходит грызня от зависти к ним.

А мы с Машей никому не завидуем. Бедные? Ну и холера с этим! Мы лучшей жизни не пробовали. Нам и эта жизнь хороша — покуда радость несёт. Хоть бывают и серые дни. Но радужных дней всё ж побольше... Вот дочку вырастили, дорогу ей дали, теперь вот внучка на ноги поднимаем, пока есть силёнки. Мы жилистые!

— Скоро заявится наш Сергейка-воробейка, — с нежностью в голосе говорит Маша, и разговор заворачивает на другую тему.

— Светланка у нас к труду привычная, и всё у неё в руках горит. Квартирка хоть и маленькая, но как игрушечка. Дочка — чистюля побольше, чем я. У нас завтра суббота, Вась? Ага, суббота... Приедет Светланка, вот вы повидаетесь хоть раз за столько лет. Тут и езды с Могилёва какой-то час. Не нравится мне, что она стала домохозяйкой. Ни кино, ни театру не любить. Я, мама, своё отгуляла, для Сергейки буду жить. Вот и мы теперича для Сергейки живём...

На последних Машиных словах в хату буквально врывается краснощёкий от мороза мальчик, по привычке зашвыривает в угол под вешалкой свой заплечный рюкзачок, туда же летит и курточка, и вдруг, увидел за столом незнакомого дядю, он останавливается среди хаты, вопросительно смотрит на бабушку.

Гость встаёт из-за стола, подходит к Сергейке, одетому в тёмно-синюю форму с красным галстуком, подаёт мальчику руку, как взрослому, и говорит:

— Я — дядя Виктор. Из Москвы. Приедешь в гости ко мне в Москву?

— Не знаю, — нерешительно мямлит Сергейка, стесняясь гостя.

— С дедушкой приезжайте обязательно! Ты, Василий, в Москве бывал?

— Не случилось. Я, знаешь, — хохотнул Василий, — как телёнок к тычку, к дому привязан... Вот с крышей управляюсь, ежели кто подмогнёт, дык обязательно заявлюсь... Махнём усим семейством Демидовых к тебе, Виктор, встречай гостей. Хыть вспомнить шо будеть. Поедем, Сергейка?

— Ага, — уже смелее отвечает внук, которому дядя Витя сразу понравился.

— А теперь держи подарок, — дядя подходит к Сергейке и подаёт мальчику большую белую коробку, на которой чернеются большие нерусские буквы.

— Вот возьми. Открой сам и посмотри.

Сергейка открывает коробку и замирает от радости: в коробке лежат кроссовки, да такие, о которых он мог только мечтать и которые ему могли только разве присниться — белые-белые, как снег, с тремя красными полосками сбоку, с фирменным золотым теснением сверху задника.

— Ух ты, вот это да! — невольно вырывается у деда, а ребёнок неожиданно срывается с места и пулей летит на кухню с коробкой в руках. Своё мальчишеское счастье он привык переживать в одиночку, тогда ему никто не помешает уразуметь реальность происходящего.

А Виктор не на шутку разошёлся, подходит к Маше и ей тоже протягивает подарок — добротную шерстяную кофту с размалёванной не по-нашему биркой.

— Ой, спасибочко, — рдеет от радости Маша, разглядывая дорогой подарок.

— Такая красивая, такая мягенькая, руки ласкаешь... Дорогая. У наших магазинах таких не бывает...

На её слова Виктор отзывается незамедлительно:

— Этот подарок тебе Галя с самого края земли привезла, из Канады аж...

Маша айкает и шустренько убегает вслед за Сергейкой: и взрослые иногда ведут себя как дети.

Через минуту она стоит перед мужчинами в новом наряде. Даже Сергейка, вынурнув из кухни следом за бабушкой, любуется подарком и радуется за свою бабулю.

Дорогая и добротная заморская кофта цвета спелого каштана с сероватыми узорами в виде роз на груди и рукавах у плеча сидит на Маше ладно, как влитая, без единой сборки и морщинки облегает не по годам стройную фигуру женщины. Кофта будто излучает мягкий тёплый свет, и от этого свечения Маша словно молодеет.

Василий от удивления аж рот раскрывает, увидев преображённую супругу, и тёплая волна нежности вновь окатывает его, накрывает с головой, острым желанием толкает под сердце.

— Очень идёт тебе каштановый цвет, — замечает Виктор, когда Маша садится снова за стол в подарочной обнове.

— Дык её и не узнаешь, ежели на улице встретишь, скажешь, девушка, разрешите познакомиться, — отпускает комплимент и Василий.

— Хороша, что и говорить... Только зачем так вот тратить...

— Пустяки, Маша... Это мы как бы вину свою заглаживаем перед вами за долгое наше молчание, — смеётся гость.

— Попробуйте теперь не простить нас с Галей! Ты прощаешь, Сергейка? — обращается Виктор к мальчику, аппетитно уплетающему картошку с огурцом.

— Ага, — кивает головой ребёнок и все дружно хохочут.

И в эту минуту Василий вдруг срывается с места, хлопает себе ладонью по лбу:

— Ах, мать честная! Чуть из головы не выбило! Мне ж напарника менять скоро... Нехорошо получается, Виктор. Мы с тобой как след и побалакать не успели...

— Не бери в голову, Василий, не переживай. Спокойно иди на работу. А мы ещё наговоримся... Я не уеду в свой санаторий, пока с вашим Нестеровым не потолкую... да и с первым секретарём заодно. С тобой ходим... Ты только молчи, не перебивай, а то ты стал больно разговорчивый. И шифер, и всё, что надо, будет у тебя. Это я обещаю поправить...

— Спасибо, свояк...

Не могу взять только в мозги свои, чего-й-то у нас начальники, быдта перед концом света, какие-то алчные стали, норовят урвать поболее, схватить дармового... А на смиренного и совестливого плюют, обделяют за-всегда. А мы ж вот этими руками усё робим для них, — Василий поворачивает к гостю свои жилистые с почерневшей кожей ладони, будто у шахтёра. На них бугрятся бобом мозоли, наработанные ещё в колхозной кузнице.

— Нас, Виктор, дают они бедностью, быдта уздечкой, усё тяжельше и тяжельше жить. Кругом адны начальники шастают, зыркают. Мы навроде чужими им доводимся, приспособили до себя они нас. Как бы тот инструмент — под рукой держуть... Эх, дожить бы до правды, до справедливости обчей!..

— Сергейка, не востри уха, ешь и не слухай doros-лых! Ну ды ладно. Поговорим ещё, а? Пойду и попрошу

напарника, хыть он мужик дрянной. Пусть подежурит ночью, я их не раз выручал.

Василий начинает одеваться, а Сергейка с большим интересом наблюдает за дедом, который стал вдруг говорить как-то не так... Не гакает, как раньше, не переспрашивает, и ему не кричат на ухо. Чудеса какие-то произошли с приездом дяди Виктора. Что случилось с его дедом? Схожу-ка к нему на работу и узнаю...

Так думает Сергейка, наблюдая неприметно за сборами деда на дежурство: «Я ему плакат с одним из лучших наших футболистов Олегом Блохиным приколю к стенке в котельной. Он такой красивый на плакате». Мальчик так и не догадывается, что произошло с его дедом.

Подходя к котельной, Василий встревожился: над дверью подвала валил пар. Только собрался ступить на бетонную лесенку, ведущую в котельную, как оттуда выскакивает пробкой Пётр, как безумный взлетает вверх по лестнице и, не замечая Василия, которого чуть не сшиб с ног, ошалело бегаёт и что-то ищет. Наконец он находит то, что искал, и, встав на колени, начинает отковыривать чугунный люк. Но люк не поддаётся, и Пётр отчаянно матерится...

— Что случилось, Петя? — с тревогой спрашивает Василий, ничего не понимая в действиях напарника.

Только сейчас Пётр замечает Василия, поворачивает к нему бледное и искажённое от ужаса лицо, трясущимися губами лепечит:

— Вася, я не знаю, что делать, вода в котёл не поступает, труба лопнула, заливает... А где перекрыть, не знаю. Знаю, что где-то есть задвижки...

Пётр ещё что-то бормочет, паникует, разбивает пальцы в кровь о стылое железо люка, который примёрз к земле.

А Василий думает: «Зачем-же в колодезь-то лезть? Разве он не знает, где аварийная система, чтобы сбросить

давление? Вот голова садовая, сдурил совсем, баламут несчастный! Проспал, наверное, босяк, ещё беды непоравимой натворить может. Надо немедленно включить аварийную систему... Трубы замёрзнуть, ведь и до беды недалеко... А на улице мороз вон под тридцать...»

Василий решительно бросается вниз по ступенькам. В котельной ему забивает дух густой удушливый смрад. Пар такой плотный, что за полметра ничего не видно. Но Василию здесь всё знакомо до мелочей.

Наощупь он добирается, держась за стенку рукой, до того уголка за дышащим жарой котлом, где смонтирована аварийная система... Но дотянуться до красного рубильника Василий не успевает. За спиной оглушительно грохает.

Подняв руку к голове, будто защищаясь, он накрывает ладонью полуподковку. В ту последнюю секунду сознания он машинально тянется и зажимает её судорожной хваткой. Кочегара окатывает с ног до головы острой, нетерпимой болью, и что-то тёмное, глыбастое обрушивается на плечи, перехватывает горло.

Последним всплеском сознания проносится догадка: «Взорвался котёл».

Сергейка подбегает к котельной с плакатом знаменитого футболиста в тот момент, когда дедушку на носилках уносят в машину с красными крестами...

Внук не знает, что в большой и доброй, но уже остывающей рабочей ладони деда Василия, густо усеянной маленькими точечками неотмывной угольной пыли, зажата почти игрушечная из серой пластмассы полуподковка — его крохотное состоявшееся счастье...

1982, 1987 гг.

Бобруйск — Минск — Москва

ХЛЕБ ДИОГЕНА, ИЛИ ЗАПИСКИ ДВОРНИКА

*«Презрение к наслаждению само по себе
Доставляет величайшее наслаждение.»*

Диоген

Сначала о колбасе. Про метлу успею. Она рядом. Однажды я услышал, как некий депутат с высокой трибуны изрёк:

— Колбаса — показатель нашего достатка. — Так прямо и изобразил нашу советскую проблему.

А вот если бы мне подфартило выйти на такую вышку, я, наверно, так обратился к народным избранникам:

— Товарищи мои разлюбезные, может, колбаса стала показателем каким-то, а вот мне сдаётся, что мы просто свихнулись на почве этой самой колбасы и в голове у нас полная неразбериха.

Наверно, меня «захлопали» бы, как академика Андрея Дмитриевича Сахарова на съезде народных депутатов.

И как выдержало тогда сердце этого пожилого, умнейшего человека ограниченность и беспредел наших народных избранников?! И мне не простили бы правды-матки.

Только зря всё это. Станьте, как бы, в сторонке от себя да понаблюдайте, что деется на земле славянских предков. И вы увидите, что без колбасы мы признаём себя как бы ущербными, кричим караул, если в холодильнике нет куска сомнительного месива типа «столовая», «прима», «останкинская»... И сам я такой — за колбасой

гоняюсь, как за синей птицей счастья. Колбасу дают? Где? Какую?..

Может, мы и не виноваты. Всю жизнь нас приучали чиновные властные дяди к колбасному изобилию. Имена этих дядей покрыты мраком державной секретности.

Колбасные рецепты тоже засекречены — от нас, от людей. Только кошки, от природы, не умея читать и писать — запросто разобрались в этой колбасной филькиной грамоте и отворачивают свои голодные мордашки от этой самой колбасы. Выходит, что они умнее нас — людей.

А теперь давайте пройдем со мной к нашему магазину. Извините, что очередь великовата — колбасу ведь дают. И я нырнул в гастрономическую стихию, настроив свою терпеливость часа так на два, поскольку в магазине не очередь, а штурмовая колонна. Да и привередничать мне не с руки — в моем холодильнике пусто, как в торбе Диогена.

Через три часа, обалдев от гама и спёртости атмосферы, помятый и голодный, ору продавцу:

— На четыре рубля!

Продавец взвешивает, пишет сумму на обёрточной бумаге, из которой торчат колбасные концы, а мне почти швыряет карикатурный колбасный свёрток. Очередь мгновенно вышибает меня, как вышибают пробку из бутылки. Я отступаю в сторонку почти счастливый, с оторванной пуговицей на пальто, и читаю — на свёртке написано: четыре шестнадцать. А у меня в кармане всего четыре десять. И больше — ни копейки. Вот так история.

И что же делать? Лететь снова к продавцу и просить, чтобы урезала на шесть копеек колбасы? Но поди, сунься... Люди галдят, грызутся между собой, обозлённые дефицитом и вечной нехваткой то того, то этого, громко

изобретают такие словесные бомбочки в адрес торговли и народных «слуг», не знающих очередей и, что из моей души выглядывает, озираясь, будто суслик из норы, позорный наследственный страх: не пристроились ли рядышком выхоленные безликие мальчишки, выдёргивающие, как в былые времена, наиболее словоохотливых представителей устного народного творчества.

Сколько живу на белом свете — я ничего никогда не купил без очереди.

Очередь — это наш Кощей бессмертный. Кому дано угадать, где спрятана иголка?

Что же мне делать? Подхожу к концу очереди, трогаю за рукав спецовки пожилого мужчину, прошу купить у меня разовый проездной билет за пять копеек. Объясняю сбивчиво, что, мол, не хватает рассчитаться за покупку. Мужчина понимающе улыбается, суёт мне пятак, а билет возвращает. Я бормочу слова благодарности, направляюсь к кассе.

Теперь уж легче дышать: надеюсь, кассир поверит копейку в долг. У меня дома есть дюжина бутылок из-под молока, я их сдам. Не забыть бы отдать копейку...

Я проворачиваю операцию с бутылками, возвращаю кассиру должок. Кассир мне мило улыбается. И я улыбаюсь. Не жизнь, а сплошные радости.

Радость ждёт меня и впереди, в нашей булочной. Подхожу и вижу: к стене булочной рядом с дверью приклеена зазывалка. Написана она круглым школьным почерком: «Требуется няня заработок сто рублей, дворник — семьдесят рублей в децкие ясли». Нижняя часть листка в клетку разрезана на язычки, на каждом язычке — номер телефона. Я бы, наверное, прошёл мимо, если бы не эти «требуется» и «децкие». Я, как бывший редактор равнодушен к орфографическим ошибкам.

Исправил как мог, шариковая ручка не желала писать на стене. Кое-как всё же подчеркнул ошибки, так делали учителя в школьных тетрадях.

Наконец справляюсь с ролью учителя, читающего сочинение. Улыбаюсь своей невесть чего взбрыкнувшей шалости.

Мне нравится эта булочная. В нашем районе для неё приспособили квартиру на первом этаже хрущёвки, вход в которую прорубили с тыльной стороны дома. Ещё с порога шарю глазами по знакомым полкам, и моя душа улыбается: опять радость! Я вижу круглые ржаные караваи. Их тёмно-коричневые корочки чуть-чуть лоснятся. Выбираю один круглячок с толстогубой трещинкой сбоку и двумя ямочками посередине.

Каравай был тёплый, податливый под пальцем. Я буду ощущать его лёгкое дыхание, еле уловимое дуновение запаха, ни с чем несравнимого. Этот запах всегда волнует меня, будто прыгает в грудь светлый лучик радости.

Я знаю, где берёт начало эта радость при встрече с хлебом: вот мама вынимает из печи деревянной лопатой круглый каравай на похрустывающих высушенных кленовых листьях, брызгает на него водой из глиняной миски, а каравай в ответ как бы ухаёт от холодной воды, пыхтя, исходит парком. Потом мама торжественно водружает его на стол под божницей со светлыми и строгими ликами, накрывает разлёгшиеся хлеба домотканым рушником. Здесь они как бы приходят в себя, как приходят в себя любители парилки в предбаннике.

Разве забудешь, сколько ты живёшь, как с хлебным духом обострялось, задевая самые чувствительные изгибы души, сознание причастности к явлению хлеба. Ощущение родства как бы связывает душу воедино с хлебом.

Мне почему-то кажется, что чувство к хлебу, а вернее — чувство родства с ним — сильное и глубокое чувство, которое, увы, дано не каждому испытать, кто ежедневно берёт в руку буханки кусок или ломоть хлеба.

Я убеждён, если у человека при встрече с хлебом это чувство оживает, обостряется, если оно ищет выхода своему взволнованному голосу, этот человек не способен на дурной поступок.

Чувство сопричастности рождению хлеба делает человека добрее, отзывчивее, мудрее.

Однако я допускаю предположение, что кто-то не согласится со мной, если я скажу и больше: чувство к хлебу, несомненно врождённое чувство.

Беден тот, кто лишён этого удивительного чувства, живущего в народной душе, переданного с геном от отца или матери. Родители, живущие без чувства родства с хлебом, не способны осчастливить своих наследников столь редким сегодня, столь бесценным во все времена качеством души — любовью к трудному хлебу как к живому, родному существу.

Это моё личное мнение, я его не навязываю, как не навязываю и ещё одного моего соображения по поводу чувства к хлебу: если в душе человека никогда не возникает чувство родства с хлебом, это человек безродный Иван, душа у него безнравственна. Безнравственна, даже если человек умеет складно говорить о хлебе, о житье-бытье, если порой к нему прислушиваются, считая его авторитетом, примерным по-своему поведению, если однажды ему дали право учить других уму-разуму или указывать перстом, повелевая.

Взять в руки хлеб, чтобы отрезать от него ломоть и утолить голод, и не почувствовать в эти минуты никакого движения-шевеления в груди — что это?

Не результат ли духовного несовершенства, свидетель-ство ограниченности интеллекта?

Такие люди достойны сожаления, души их бесплодны, и общение с ними не сулит ближнему ничего хорошего. Я встречался с такими людьми, их развелось — тьма. От встреч с ними в душе остаётся ощущение, похожее на то, которое испытываешь, когда прикасается к телу что-то скользкое, холодное...

Ах, куда занёс меня мой каравай! Толстогубая трещинка и две ямочки! Ах, какую радость подарил он мне, радость ощущения кровного родства с ним. Я выхожу из булочной и снова вижу зазывалку с моими исправлениями, улыбаюсь своей легкомысленной выходке. В эту минуту ни с того, ни с сего на ум пришла смешная детская дразнилка:

«Дворник, дворник, где ты был?

Я в подъезде мух ловил...»

Что ж, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! А встречная пожилая женщина с опаской сторонится, внимательно присматриваясь ко мне, шагающему с глупой, без всякой причины, улыбкой во всё веснушчатое лицо. А ещё в шляпе! Не выдержала, остановилась на дорожке и провожает меня глазами до самого подъезда. Оглядываюсь: угадал... Наверное, нашла меня чокнутым.

Придя домой, я, прежде чем задвинуть тёплый каравай в душегубку контейнера, отрезаю ножом горбушку и жадно, будто явился из голодного края, впиваюсь зубами в шоколадную корочку, откусываю, запивая хлеб холодным молоком.

Я блаженствую, как в детстве, насыщаюсь, и мне ни о чём не хочется думать. А ведь и вправду человек глупеет от сытой жизни. А ведь и вправду, наевшись, ищешь любую возможность, чтобы умственно вздремнуть.

Сто раз прав великий **Диоген!** Сытость развращает душу человека, порождает умственную лень.

И опять назойливо липнет ко мне детская дразнилка... Будто преследует с умыслом. Отчего память никак не хочет расставаться с крохотным моим приключением у входа в булочную? Уж не судьба ли?

Я задумчиво отодвигаю чашку с молоком, кладу на стол недокусанную горбушку и, будто по чужому велению, по чьему-то хотению, торопливо набрасываю на плечи пальто. В спешке хватаю шапку, обуваюсь и уже по-мальчишески слетаю по лестнице, застёгиваюсь на ходу, почти бегом спешу к булочной.

От нашего двенадцатиэтажного дома, где моя родная тётка, познав жизнь в подвалах, бараках, коммуналках, через сорок пять лет маеты по различным жилищным очередям, наконец, получила отдельную квартиру, булочная рядом — рукой подать. Ещё с полгода назад я игнорировал эту торговую точку, типичную для нашей казённой распределителки, которую называют торговлей, из-за вечной окаменелости нарезных батончиков и ленивой неприглядности продавца.

С осени магазинчик взяла на подряд проворная молодая чета. Булочную не узнать: чистенько, уютно, товар свеж. И зазывать меня не надо, я знаю, что во второй половине дня в магазинчик привозят ржаные — с пылу-жару — караваи, мою слабость.

Я быстро преодолеваю сотню метров, ещё издали примечаю приклеенный к стене листок. Подхожу, воровато озираясь, решительно срывая бумажку с телефонным номером, и сую её в карман пальто.

Дома я звоню по указанному в зазывалке номеру, мне отвечает женщина с певучим голосом... Да, дворник нужен...

И вот я стучусь в кабинет заведующей.

— Войдите, — доносится.

Вхожу.

За письменным столом рядом с окном сидит женщина лет пятидесяти в белом халате. У неё пышные пшеничного цвета волосы, большие карие глаза.

Здороваюсь. Она мне указывает на стул, стоящий у стенки — перед столом. Чувствую, заведующая окидывает меня изучающим взглядом, чуть настороженным.

Этот взгляд мне знаком. Он принадлежит правящей чиновничьей категории, которая сама по себе подбирает кадры и самолично решает: взять или не взять. Мне сегодня хочется, чтобы решение было — взять...

Сейчас о работе дворника я мечтаю, как мечтает конторский карьерист о портфеле министра, так как с предыдущей работы старшего научного сотрудника был уволен по собственному желанию — не сошлись характерами с руководством. И вот уже три месяца не могу найти работу.

Уверен, что эту сидящую передо мной женщину в белом халате, настораживает моё образование и профессия журналиста, её это смущает. Журналист и вдруг — дворник? Зачем пришёл устраиваться на такую работу?

Она, живущая своими снабженческо-выбивательскими заботами и, имеющая довольно туманное представление о жизни творческого интеллигента, никогда не допустит мысли о том, что у сидящего перед ней журналиста вот-вот нечего будет кушать. Она не имеет понятия о его повести, которую писал бессонными ночами и ещё полгода назад отнёс в толстый журнал, да оттуда ни слуху ни духу, а потому, что автор — толкатель никудышный.

Наверное, в её понимании журналисты и писатели лопатами деньги гребут...

Не могу судить, как она подумала обо мне, листая трудовую книжку, но сомнения у неё были, коль сказала: «У меня такого дворника ещё не было... Вы хоть представляете работу дворника? Да и оклад семьдесят. Вы, наверное, столько никогда не получали...»

— Не получал... Но я согласен, — поспешно выпалил я, с ужасом представив новый поворот. Я так устал от этих поворотов. Таков ли ей нужен работник? Уж больно неказист на вид: среднего роста, жидковатого — с брюшком — телосложения, курносое веснушчатое лицо, старенькое демисезонное пальто...

Она ничего не спрашивает. Долго молчит. И вдруг как-то неуверенно говорит:

— Хорошо, я вас беру. Приходил тут один, на полставки просился. Откажу ему... Завтра возьмите направление в санэпидемстанцию у нашей медсестры. Таков порядок, извините... Детское учреждение.

В своём белом халате заведующая больше похожа на доктора, ведущего амбулаторный приём. Не хватает только на шее фонендоскопа.

— Сейчас я вам покажу участок.

Она встаёт из-за стола, подходит к вешалке в углу, набрасывает на халат телогрейку-ватник довоенного образца. Мне нравится её деловитость, энергичная походка.

Во дворе снега почти нет, он сошёл ещё в январскую оттепель. Только две серые, спрессованные оттепелями, горки торчат у крыльца да у высокой железной ограды, которой окружена вся территория.

Мы обходим мои будущие владения, заведующая коротко выдаёт информацию:

— Ваши дорожки вот от крыльца и вокруг парадного здания... и четыре детских дворика.

Я внимательно присматриваюсь к детским дворикам-клетушкам, выгороженным полуметровым штакетником, который раскрашен голубой, красной, зелёной эмалями. Раскрашены в яркие цвета: столики, беседки, снарядики для лазанья деток. Снега здесь тоже нет, но открылась ужасная захламлённость: земля усеяна прошлогодними листьями — грязными и слежалыми.

И жильцы близстоящих домов постарались — повсюду обрывки, обломки, шматки всякой всячины, чем богаты хозяева домов, обступивших своими дворами площадку с трёх сторон. С четвёртой стороны — дощатый забор новостройки.

Заведующая говорит:

— Теперь зайдём сюда.

Мы поднимаемся по бетонным ступенькам крыльца. Заведующая отпирает дверь, и мы входим во флигелёк, пристроенный к зданию справа от парадного крыльца. Здание выкрашено в салатный цвет, выглядит нарядно.

Зато во флигеле картинка ужасная: на полу валяются вперемешку с белоснежными детскими горшками — лопаты, мётлы, грабли, берёзовые веники, старые тумбочки, столы, стульчики. Весь этот инвентарь представлял страшный бардак.

— Нет хозяина, — устало роняет заведующая, будто извиняясь за хаос в дворницкой. Она отдаёт мне увесистый ключ от двери флигеля, говорит «до свидания», поворачивается к двери и уходит.

Я стою в авгиевых конюшнях расстроенный, но несколько не разочарованный. Мне даже становится весело.

— Ну, здравствуй, моя детская дразнилка!

Настроение такое, что чешутся руки и я готов идти на штурм следов бесхозяйственности в одном из неприметных и будничных уголков России, но дело не в будничности и неприметности, а в том, что и здесь хозяйничал равнодушно-безразличный пришелец, коими стала богата земля русская.

Такой зимы на своём веку не припомню. Считаю, с Нового года не выпадал снег. Почти постоянно дежурила нулевая температура. Дневные оттепели сменялись ночными заморозками.

Синоптики захлёбывались от восторга по поводу столетнего дива, будто они сами имели какое-то касательство к родному явлению природы. А простой пешеходный люд бедствовал от гололедицы. Коммунальщики по давнишней традиции и на сей раз показали полную несостоятельность своих служб: первый раз у них был полный завал в декабре, когда Москву занесло снегом по колено, второй раз — в январе.

Оттепели и заморозки терроризировали народ. Несколько человек убились насмерть, больницы переполнились травмированными с переломами, ушибами, растяжением связок. Государству, а значит, и нам, по карману наносился скрытый удар из районов ведомственных чересполосиц. Почему?

Никого в стране социальная и экономическая ситуация не колыхала, если не считать, что пару раз выступили профсоюзы. Не было в нашем Отечестве органа среди бесчисленных бесполезных органов такого, который сказал бы своё независимое слово по поводу невежественного ведения народного хозяйства. Такой, с позволения сказать, хозяйственный принцип можно, пожалуй, сравнить с той печально смешной ситуацией, которая подмечена народом: за деревьями не видать

леса. Мы за лесом ведомственных контор потеряли государство.

Когда, какие державные мужи уразумели сей парадокс?

Вот, скажет кто-то, началось светопреставление: дворник суёт свой нос в масштаб страны... Хитрая приспособленческая лигачёвщина благословила дворника — шуми, митингуй на здоровье, а мы колесо крутим так, как оно крутилось сто лет под телегой. И ты, дворник, и ты, наивный интеллигент, являешься для незыблемой системы, держащейся на кулаке казармы, не больше как звуком пролетающей мухи. Муху в случае можно и прихлопнуть. А пока...

Я — как дворник загораюсь смелыми ревпроежками, ношусь с ними как с писаной торбой. Мыслю я приблизительно так: кто есть дворник применительно к городскому хозяйству? Самый стопроцентный мусорщик. Мусорщиков только в Москве — многотысячные армии. А по стране? Миллионная армия мусорщиков составляет главную ударную силу ведомства коммунального хозяйства, а вооружение — на грани горевой фантастики: лопата и метла. Метла и лопата — это и есть символы беспробудной спячки министерского технического карабканья. Карабканье благословили госплановские чаегоны, поскольку дворники — самая дешёвая рабсила. Вот она — кружевная вязь бюрократов!

О феврале сказано крепко: «Не в те числа попал, а то бы бычку-третьячку рога обломал!» Грозится, значит. Но у меня подозрение, что эти крепкие слова не о московском феврале сказаны. Нынче февраль в Москве — мокрая курица с выщипанным хвостом. Только ступил по асфальту первых два шага, глядь, а снег — тью-тью,

днём с огнём не сыщешь. Кое-где завалился в теньке, как медведь в берлоге. А на улицах?

Грязно-серые копёшки уткнулись, будто боровы рылами, в грязные лужи задворков, а вдоль тротуаров, особенно в солнечные дни, лоснятся заплёванными жирными спинами отвалы, привалившись боками к коленкам лип, как вдрызг надравшиеся пьянтосы. Какой это снег? Это всего-навсего почерневшие от копоти труб и грязи машин обломки тротуарной наледи, сколотой дворнички-ким главного калибра орудием — полупудовым ломом, на одном конце которого приварена увесистая кила колуна. Это и есть последнее слово ведомственной научно-технической мысли.

К середине марта и этих грязных ошмётков декабрьской снежной лавины не осталось в городе. Небывало шустрая весна обнажила землю, обрекла москвичей на многодневное созерцание своей ужасной неряшливости, легкомысленной нечистоплотности. Открылась неопи-сываемая замусоренность улиц, тротуаров, скверов, парков, дворов и задворков, Честно говоря, противно смотреть...

Погода спутала-перепутала все красивые графики коммунальных служб, и коммунальные службы ударились в ничегонеделания, надеясь на авось и на то, что Всевышний наконец, хотя бы в марте, сжалится над их проклятушей судьбиной и прикроет хоть на месяц всё это рукотворное свинство. Но Всевышний не сжалился, а графики у нас составляются не для того, чтобы их выполнять.

Да и смета расходов под неусыпным бдением Минфина не позволяла нацеливать заспанную от безделья дворничкую шатию-братию на уборочную суету, а до коммунистического мусороаврала на городских кварталах — далече. Не стыдоба ли?

Заморский эфир зубоскалит вовсю о такой вот перестройки всех наших Мин и финов. И поделом! Ведь сами себе по всей державе нашей устроили дворово-задворные хлевушники, металло-бумажно-древесные свалочные монбланы. Хотите посмотреть на себя сбоку? Утром, к примеру, идёшь по прибранному асфальту, а к вечеру возвращаешься этой же дорогой и спотыкаешься о картонки, пустые пачки из-под сигарет, окурки, конфетные обёртки, обрывки целлофана. И так каждый день. Нет, не грозит ведомству безработица.

Часто я хожу в булочную через двор соседнего двенадцатиэтажного дома, балконы которого обращены на территорию, где посажены деревья, декоративный кустарник. Весной здесь птичий сабантуй, сирень и черёмуха вскипают от полноты зелёной жизни. Но как этот уголок испохабят за зимние месяца! Территория посадок прямо на глазах обрастает мусором. С балконов, окон и форточек летит сюда всё, начиная от продуктовой тары, бутылок, склянок до бумажных разноцветных обрывков и презервативов. Я не говорю уж об окурках и прочей мелочовке... а в доме, между прочим, в каждом подъезде есть исправный мусоропровод.

Да разве только в соседнем дворе живописная свалка? Как бы не так. А не хотите знать, что в каждом, считай, дворе с тыльной стороны дома вечно гнездится табуретный уровень нашей культуры общежития. Не на грустные ли размышления наводят нас подобные, мягко говоря, удивительные явления нашей размалёванной словесами действительности?

А скажут ведь: «Ну и размышляй себе на здоровье, дворник! И вот ты после своих трудненьких размышлений, волнующих душу, постучишься кому-нибудь в квартиру соседнего многоэтажного дома, где под

балконом чёрт ногу ломает, да и спросишь, а можно ли так позорить дом-то свой. И в ответ такое услышишь! И никто — ни папка с мамкой, ни дедка с бабкой, ни великовозрастный недоросль — не устыдится даже тогда, когда будет пойман, уличён в непроходимом бескультурье, не попросит прощения за бездумную выходку, не поблагодарит тебя за твою доброту и попытку помочь ближнему взглянуть на себя со стороны, чтобы непременно вспомнил: люди ведь мы!

Я — добросовестный мусорщик. Это, во-первых. А во-вторых, я идейный и с удовольствием машу метлой и работаю лопатой, наводя чистоту и порядок в ребячьем, уязвимом со всех сторон хрупком царстве-государстве, и всегда хорошо думаю о немногословном населении, что осваивает мою территорию. Я всегда пугаюсь, если вижу заброшенные сюда рукой бездумного негодяя — разбитую склянку, планку с гвоздями, обломок ножа или ещё чего-то, что может принести боль моим малышам. Добросовестность и любовь к этим маленьким и трогательным созданиям — моя главная заповедь мусорщика.

Приносить на эту территорию я советую только хорошие примеры и чистые слова — не только по части аккуратности и гигиены, но и в плане постижения будущими представителями нашего общества — доброго и хорошего.

Правду сказывают, что работа перелицовывает, перекраивает на свой лад душу любого человека, прикипевшего к ней. Она как бы вживляет в неё частичку своего содержания, своего мира. Работа как бы вливается в нас, как бы питает нас из своего вечного ключа, незаметно восполняя растраченную энергию нашей души.

Отчего каждое утро, встав с постели, я тороплюсь к окну, чтобы узнать, какая погода? Такого погодного интереса за мной раньше не наблюдалось. Неужели выглянуло в окно незнакомое лицо новой моей работы? Это — точно так.

Я-то дворником стал. А это значит, что ранним, ранним утром, пока ещё тих и безлюден город, мне надобно, если выпал снег, шустренько мчаться в свой флигелёк и выбрать позагребастее лопату.

Не управишься с расчисткой дорожки до людского нашествия на тротуары, через час-два снег так умнут, утрамбуют, припечатают к асфальту, что потом ни на один день привяжут тебя к полупудовому колуну-лону, намахашься-намаешься аж по самую завязку. Такая вот канитель случается со снежным панцирем. А если днём оттепель, а ночью — морозец? Знай — на утро на тротуарах торжествует гололедица, хоть на коньки или на лыжи становись да катись к метро, трамваю, автобусу. Коль ты сознательный дворник, а не разгильдяй или немощь какая-то, то подшустри и тут: посыпь песочку на скользкий тротуар, чтобы беда не приключилась с ближним и дальним согражданином твоим. Нет, ты не мусорщик, ты — охранитель, душа твоя, дворник — берегиня! Мусорщиком сделали тебя странные скупые люди — казённые плюшкины. А скупой всегда платит дважды-трижды.

Мне нравится шагать по улицам города ранним утром. В эти минуты редко встретишь пешехода, не шастают проныры таксисты. Воздух ещё не намешан на удушливой вони выхлопных труб, от которого к вечеру тупеешь будто колун носишь вместо головы, и нет ни малюсенького желания высовываться из квартиры на улицу.

В моей руке дипломат, в котором — рабочая спец-овка. Я иду на работу. Впереди меня, метрах в десяти, энергично шагает по скрипучей пороше молодой мужчина в модной куртке. В правой руке у него красивый радужный полиэтиленовый пакет. Я вижу, как мужчина на ходу опускает руку в карман, достаёт роскошно размалёванную пачку дорогих сигарет, закуривает, а пустая пачка описывает дугу и падает на заснеженный газон перед окнами жилого дома, став мусором.

Дворник-мусорщик потом нагнётся, чтобы поднять её с земли, мусоровоз доставит её на свалку. Один бездумно нагадил — другой — ты ведь мусорщик — убирай: социалистическое так называемое разделение труда, что ли? Карикатура — да и только! Догнать? Пристыдить?

Да разве за каждым пакостником угонишься, если он с детства не приучен к культуре, к уважению труда другого человека? А сколько таких вот несмышлёнышей, у кого внутренней культуры — кот наплакал?

Наверно, я и сам, не задумываясь, порою точно так же поступал когда-то, когда бродил по свету с завязанными глазами, не видел душ людских, расшвыривая налево-направо всё, что оказалось ненужным, лишним, обременительным. Я делал так, чтобы только мне было удобно, а как другим наплевать, размазать и забыть! Логика закомплексованного эгоизмом человека. А ведь жил же столько лет, не зная о том, как дурно выглядит со стороны подобный поступок — результат бедного содержания души. Эгоизм ли это или уровень культуры подленького пакостника?..

Успел. Во дворе ни одного следа. Отпираю ключом дворницкую, переодеваюсь и выхожу воевать со снегом.

Снег неглубокий, мокрый, а значит, недолговечный. Дорожки засыпаны, и я примеряю к ширине одной из них, лопату с двумя ручками, толкая, как тачку перед собой. Лопата скользит легко, оставляя за собой чёрную асфальтовую ленту. Работу я делаю с удовольствием, утренняя разминка на бодрящем воздухе вливает в мышцы свежую струю. Через десять минут мне уже жарко. По носу щекотнула капелька пота. Я иду в дворницкую, сбрасываю спецовку. Понимаю, что моё торчащее футбольным мячом брюшко, выпестованное за столом, не привыкло вкалывать на голодном режиме. Я объясняю ему, что привычка — дело наживное, но мне порядком надоело, когда оно высовывается впереди работающего человека. Вперёд батьки не лезь, а то посажу тебя на диету.

К семи часам, когда вот-вот начнут в доме для дошколят селиться голоса, снег с асфальта убран. Ладони мои горят, ко лбу липнут мокрые кудри. Зато на душе — по-домашнему уютно.

Я стою на заснеженном дворе и прислушиваюсь к голосу, звучащему внутри. Это был голос радости, настоящей радости.

Она поселилась во мне с того момента, когда я без всякого принуждения, повеления, засучив, что называется рукава, пошёл работать.

Надо мной ни тайно, ни явно никто не нависал своей бессмысленной властью. Может, впервые я ощутил, что ни от кого не зависим, что я — свободен.

Я зарабатываю свой трудный хлеб, который не был подвязан к чьему-нибудь мнению, настроению, воли.

Да, мой хлеб дворника был хлебом особым, он был сладким хлебом свободы. Чего мне стоила свобода? Что я потерял и что нашёл?

Потерял я розовые очки и ложный пафос словоблудия. А нашёл я — жизнь...

Работа закончена, а вот и первый гражданин моей республики, важно восседающий в коляске, которую толкает перед собой его мать, уверенно ступающая по чистой асфальтовой ленточке.

Добро пожаловать, дорогой товарищ!

Я забрасываю на плечо лопату, захожу во флигель, переодеваюсь в свой скромный наряд, вид которого так предательски дискредитирует оттопыренная губа левого туфля. От былого хаоса во флигеле осталось лишь моё воспоминание. Каждый инструмент занял своё место. Убраны с глаз долой ночные горшки, целая гора бесполезного хлама. Стало чище, просторнее. И подумалось мне: «Кто же ты, мой предшественник? О чём думал, приходя сюда на работу в захламлённый уголок, к которому ты был равнодушен? Нельзя быть безразличным к тому месту, где ты оставляешь часть себя, потому что это — обман, обкрадывание самого себя.

И — последует страшное возмездие: душа чахнет, её навсегда покидает доброта, чувство любви к матери, Отчизне, сострадание к несчастью и боли ближнего. Инстинкты нависают над тобой как меч возмездия, а страшный меч возмездия — судьба бездумного животного...».

Я запираю дверь дворницкой и иду по своим дорожкам, продолжая вести свой монолог: «Какая судьба привела тебя на самую низкую ступеньку социальной лестницы, откуда вверх в моей родной стране не поднимаются, будь ты семи пядей во лбу? С каким настроением ты возвращался домой и испытывал ли хоть раз радость от исполненной работы? Разве ты не примечал, что после « бери ближе, бросай дальше « труда всё как бы преображалось, светлело, молодедело.

Ты уже не ответишь. А мне страсть как хочется услышать, что бы ты мне сказал. Не тебе нужен он — ответ этот, а мне. Ответ, если хочешь нужен вот этому краснощекому карапузу, который оседлал папу, твёрдо и уверенно ступающего с дорогой ношей по дорожке, которую подготовила заботливая рука другого человека...

Очевидно, ты, мой предшественник, мог быть бы иным, иным бы путём прошёл по жизни. Но ты, наверно, в начале своего пути держался против течения, потом выбился из сил и тебя понесло, завертело, как вертит водоворот. Это называется, ты стал халтурить, как это делают многие, громко осуждая халтуру, чтобы на завтра снова халтурить. Халтура привела тебя к бездумности, приобщила к вину, толкнула к бессмысленному потребительскому существованию, разгильдяйству. И что было потом? Ты потерял право зарабатывать квалифицированным трудом, от твоей халтуры отказались... В дворниках можно было продолжать халтурить. Ты был мусорщиком, подметайлой. И я такой же подметайло...

Но я не опускаюсь до халтуры. Правда, и меня, и тебя благословила на примитивную метлу такая же, как и метла, примитивная ведомственная система. Ей выгодно, чтобы я был бездумным мусорщиком, как и ты, мой предшественник. Ей выгодно эксплуатировать нас восемь безрадостных часов за нищенскую оплату. Как человек dna я — мусорщик, ты — подметайло, выгодны тем, кто породил бесплодные системы, ведущие в тупик.

Мы жили и вечно всего боялись, боялись спросить у чиновников, может ли мужчина на семьдесят рублей в месяц содержать семью, не имея на стороне халтуру? А дворнику отвалили щедрые министры аж семьдесят целковых.

А спроси сегодня, почему ведомство установило именно такую, а не иную ставку, никто не ответит, все будут пожимать плечами, кивать на кого-то.

Вся наша система не за людей отвечает, а за показатели. В министерской конторе не волнуются, что сегодня, как и вчера, многочисленная армия страны — это не дворники, это чернорабочие свалок, мусорщики. Качество кадров известно: алкаши, пенсионеры, случайные совместители вкалывают за мизерный приработок, на который нормально существовать невозможно.

Кроме того, разве мысленно с таким ущербным войском хоть кое-как управиться с прорвой снега, с пудовой наледью, действуя колуном, метлой да лопатой? Грустно, но тротуар в зимнее время стал для прохожего врагом, врагом по вине коммунальных контор. И ни защиты, ни управы не найдёшь.

Весь март — свой второй дворницкий месяц я каждое утро охотно хожу к своим деткам. Мои дворики стали картинками, хотя я отдаю своим мусорным делам два-три часа в день. В табеле мне заведующая ставит восьмёрки. Я наслаждаюсь свободой.

В марте в коммунальных и мусорных конторах ведомства полная спячка. Нет для таких контор такого показателя как — **культура**. Культура улиц, дворов. Планируется ими всё, только это всё не связано с человеком. Показатели накручиваются в каком-то странном отрыве от человека.

На улицах, скверах, во дворах меня всякий раз поражает откровенной неряшливостью крикливая свалочная мозаика. Повсюду под ногами мельтешат разноцветные конфетные обёртки, окурки, спички, спичечные коробки, папиросные и сигаретные пачки, магазинные чеки. И во дворах сам чёрт ногу ломает: валяются голубые

и красные агропромовские пакеты, обрывки полиэтилена, бутылки и склянки, консервные жестянки, тряпье, стопки рваной обуви и всякая другая всячина, выброшенная самим себе под ноги.

И эта наша с вами — культура. Странные пакостники, не правда ли? Здесь ведь живут и вот так сами для себя стараются...

Два мальчика — один — повыше ростом, ему лет семь-восемь, второй — пониже ростом — разбивают камнем бутылку. Стараются разбить на мелкие осколки. Такова, как я понял по этой живой картинке, у них задача. Стараются... Правда, один, который пониже ростом, стоит в сторонке, подаёт советы.

У бутылки толстое стекло, она из-под шампанского вина. Работа мальчишек — жестокая бессмысленность: битым стеклом усеян почти весь детский дворик.

Мальчики, наверное, с соседнего двора, перелезли через ограду и, наверно, не в первый раз здесь, специализируются по битью бутылок и других склянок: битого стекла я перетаскал уже целый воз и маленькую тележку.

Подхожу к шалунам и спрашиваю:

— Мальчики, помочь вам?

— Не-е, — отвечает старший, только что со звоном расколотивший часть бутылки крупным булыжником. Он не успел ещё искрошить всю посудину на мелкие кусочки, но, как мне показалось, с моим появлением что-то ему тюкнуло в сознание: дело-то дурное... За камнем мальчик больше не нагибается. Как-то бочком отступает шаг-другой от меня, молча поворачивается к забору и намерен убежать, напакостив мне. За ним тянется второй.

— Мальчики, погодите, — спокойно и доброжелательно говорю я. Они остановились, повернулись, как по команде, ко мне. Я продолжаю:

— Вы здесь часто гуляете? — спрашиваю.

— Часто, — отвечают мальчики вразной. Я подхожу к старшему:

— Как тебя звать? Меня дядя Ваня.

— Меня Вова... а это — Максим.

— Вова, знаешь, что я хочу спросить у тебя? Скажи, ты не любишь, когда тебя в школе на школьной линейке критикуют ребята?

Мальчик молчит, не догадываясь, к чему я виду разговор. Я похлопываю его по плечу:

— Можно, я тебя покритикую, а ты пообижайся на меня!

— Можно, — тихо роняет Вова, тайком зыркнув на разбитую бутылку.

— Представь Вова, что ты идёшь по дорожке, где битое стекло, спотыкаешься на осколки, Они впиваются больно в руки, в лицо, течёт кровь... А что если на завтра вот здесь споткнётся маленькая девочка, скажем, твоя сестричка?

— У меня нет сестрички...

— Хорошо, пусть чужая девочка, но разве тебе не жалко её будет, разве ты хорошо подумаешь о том, кто набил стекла?

Мальчик молчит, опустив голову. Наверно, он не ожидал, что я скажу:

— Я сейчас принесу метёлочку, совочек и ведро, а ты всё подметёшь и ссыплешь в ведро. Хорошо?!

— Ага...

После того, как всё было убрано Вовой до единого стёклышка, я говорю мальчикам:

— Вы приходите сюда играть в субботу. Я буду костёр жечь, картошку испечём...

— А когда? — загорается Максим.

— Приходите часов в пять после школы, — говорю я.

Мальчики идут к ограде, где меж согнутых прутьев угадывается давний лаз... Пусть остаётся, лишь бы поверху не лазали. Ведь тянет их, сюда, где попросторнее, чем во дворе дома. И где можно порезвиться и пошалить в сторонке от родительского глаза.

В субботу днём я славно помахал не только метлой, но граблями и лопатой. Сгрёб и отволлок на дальние подступы к территории десятки куч прошлогодней листвы и разномастного мусора, заброшенного с соседских дворов. Рядом с забором кое-где протоптаны дворовые дорожки, поэтому кто-то из жителей несёт что-то ненужное, и швырь за ограду. А за оградой — детки гуляют...

Территория моя — больше гектара — была засажена дикорастущими деревьями и кустарником. Земля — плодородная целина. Приложи к ней свои руки толковый садовод — не узнаешь уголок. Сад будет гнуться под тяжестью плодов. А если посадить кусты смородины, крыжовника, малины, то и радость, и польза великая деткам.

Да только не увядать этому уголку чудес, пока такие, как я будут состоять мусорщиками при министерских конторах, существуя на жалкие гроши. Специалиста или просто работающего человека с крестьянской жилкой нищенским окладом сюда не заманишь.

Зашёл перевести дух в детскую беседку, сел. Отсюда все дворики видны как на ладони. Вижу, что у тополей набухли почки, пробилась первая травка. Вижу, как к забору подходит мужчина в спортивном костюме с белыми лампасами на брюках. На плече выгибается рулон ковра.

Мужчина ловко перемахивает через ограду, крупными шагами уверенно идёт к детской перекладине в одном из двориков, где я отдыхаю в беседке, набрасывает ковёр на перекладину и начинает выбивалкой выколачивать пыль. Что это? Недомыслие? Ущербность интеллекта? Безалаберность? Видать, всё вместе...

По папиному примеру шустро перемахивает через ограду мальчик лет десяти, а между прутьями протискивается девочка лет четырёх с куклой в руках. Мальчик подходит к отцу, берёт у него выбивалку и начинает помогать родителю.

Родитель, достав размалёванную пачку сигарет «Ява», закуривает, спичку роняет под ноги, а пустая пачка из-под сигарет летит чуть ли ни к моим ногам. И только теперь он замечает меня, наши взгляды скрещиваются. Взгляд у него нагловатый, глаза — навывкат, большие. В них ни тени смущения. Будто ничего не произошло: пускает дымок, забавляется. А что? Так и впредь будет!

— Нет, не будет!— решаю я. Во мне закипает гнев против папы — балбеса, подающего худой пример чадам своим.

Молча встаю, подхожу к мальчику, беру его за руку:

— Пошли, мальчик, я что-то тебе покажу.

Подвожу его к пустой сигаретной пачке, что валяется у детской беседки, объясняю:

— Эту пачку только что бросил твой папа. Подними её, пожалуйста, и скажи папе, чтобы он не сорил.

У мужчины аж отвисает челюсть, он явно не ожидал такого поворота. Я наблюдал, как он спрыгивает с детского столика, куда он залез с ногами. Вижу сообразил, что к чему, молча берёт у сына пустую пачку, засовывает её в карман спортивных брюк, потом скатывает ковёр

и уходит, не оглядываясь. А за ним бредёт его сын, а девочка всё ещё продолжает играть в песочнице.

Понял ли? Оставил ли след в его душе урок элементарной педагогики? По поведению папы-балбеса чувствую, что дорожки наши встретятся на этой вот площадке... И не ошибся.

Я его увидел через неделю. По старой привычке он перемахнул через ограду, а его Маленькая дочка протиснулась между прутьями. Я сдержался.

Когда мужчина возвращался назад, оставив дочь в садике, я встретил его. Как раз в тот момент, когда он перешагнул штaketник двorика.

— Здравствуйте, — сказал я.

Он даже вздрогнул от неожиданности, здесь ему никто никогда не чинил помех, моему предшественнику всё было до лампочки. Мой «знакомый» не стушевался, презрительно хмыкнул и молча обошёл меня стороной. Мне оставалось послать ему вслед:

— Ещё раз встречу вас у ограды, будете жалеть!

— Но я опаздываю! — остановившись, сказал мужчина.

— Это не имеет никакого значения. Надо ходить там, где ходят все нормальные люди. Вы подаёте дурной пример своим детям... И не только своим, — выдал я ему. Пускай поразмыслит.

Он не удостоил меня ответом. Подошёл к ограде, легко вскинул своё спортивное тело и спрыгнул во двор.

Очутившись на самой низкой ступеньке социальной лестницы, о которой у нас никогда не принято было говорить, я увидел окружающий мир в несколько ином освещении, чем раньше. Пороки общества я увидел как бы в натуральную величину. Они как бы сбросили передо мной ряженный наряд.

Я не раз переживал за последнее время остросюжетные ситуации, затяжные конфликты. Все мои конфликты с чиновничьей антинародной системой происходили из-за моего неистощимого оптимизма, моей веры, наконец, в перевес сил духовности над бессилием и бесплодием скудоумия.

Однажды необъяснимо и неожиданно в мою голову втемяшилась дерзость: записаться на приём к министру.

Вкусив дворницкого полунищего хлеба, а с ним издав духовную независимость и свободу, я почему-то решил попытаться убедить своего самого высокого начальника разогнать свою коммунальную контору, ликвидировать систему бесполезных центральных контор. Спутанная казённым формализмом, вся ведомственная система держит нас мёртвой хваткой в плену стереотипов и догм. Она погубила не одно поколение совестливых работающих людей.

В шестьдесят неполных лет ушла из жизни моя мама, работавшая все годы от зари до зари и так ни разу не наевшаяся вволю, измученная постоянными недостатками и скудностью быта.

Мне её безысходная бедность теперь стала понятной до мельчайшей чёрточки, я как бы изнутри взглянул на мамино полное социальное бесправие, на её ежедневный героизм и стойкость, с которыми она упорно преодолевала свою вечную семейную проблему — накормить детей.

А нас было трое — школьники. И я сегодня, как бы получив от мамы по наследству непреодолимую бедность и равнодушие государственно-чиновничьей системы к рядовому труженику, отчаянно стараюсь сводить концы с концами, но старания мои безуспешны. Я только поражаюсь: как она умудрилась управляться

с мизерным бюджетом, чтобы мы не голодали, не ходили в отрепьях?

Мама получала по нынешнему курсу двадцать восемь рублей в месяц. На эти деньги можно было купить буханку хлеба, килограмм хамсы, два килограмма картошки, пятьдесят грамм сахара. А жиры, а витамины, так необходимые детскому организму? А на какие деньги обувать, одевать, за угол платить? А тетради, книги? Много семей посёлка, где мне доводилось бывать, жили не лучше нашего.

И сегодня за чертой крайней бедности в нашей стране десятки миллионов людей. И это всё — социализм? Безнравственно считать общество социалистическим, где миллионы обездоленных граждан, где антинародная политика чиновников, провозглашающих экономический прогресс такого сомнительного социализма.

Спасибо, жизнь, за бочку Диогена! Отсюда я увидел нищету, но не такую страшную, в которой жил простой народ, а нищету духа фальшивых временщиков, барабанищих с трибун о неуклонном росте народных «реальных» доходов.

В нашем рационе на мамин неполный рубль (копеек девяносто в день) никогда не было сдобы. Мы не видели на столе колбасы, сыра, сметаны, творога, мясных и рыбных копчёностей, фруктов. О чае, кофе и какао я узнал, когда был студентом. Рассчитывая и ведя наш бедняцкий стол, мама, как я теперь постиг эту арифметику нищеты, часто вылезала из своего жёсткого лимита, считая каждый денёк до получки, сама себя наказывала за «транжирство»: не садилась иногда с нами за стол, ссылаясь на то, что уже поела. Мы верили ей до тех пор, пока однажды я не застал её на месте обмана...

После обеда, когда мы с сестрой ушли в школу, мне пришлось вернуться с полдороги за учебником. Мама сидела за столом и ела. Перед ней стояла алюминиевая кружка с колодезной водой, лежал кусок чёрного хлеба, посыпанный крупной солью. Я об этом рассказал сестре. Больше мы с ней (брат ушёл служить в армию) не сядили за стол без мамы.

По сравнению с рублём мамы я зарабатываю в день два двадцать. Но мой стол питания почти не изменился: в магазинах дефицит продуктов, поэтому их часто приходится покупать втридорога. Правда, к нашему прежнему детскому рациону я уже иногда могу себе позволить купить сыр, колбасу, сметану, фрукты. Колбасу, правда, беру дешёвую.

Как сообщила однажды «Литературная газета», что кошки отворачивают свои хитрые мордашки от агропромовской колбасы, а другой-то нет! А мы вот терпим, рады и этому бываем. По большим праздникам я разрешаю себе на стол и ещё кое-что, о чём мама и не слыхивала. Я часто вылезая за рамки лимита и чувствую, что скоро заплачусь за своё экономическое невежество: левый туфель всё больше разевает пасть, а ремонт самый пустячный будет стоить не меньше моего дневного заработка. Где же выход? Надо срочно урезать ежедневный стол...

Собираясь к министру, я ничего не намерен был просить лично для себя.

Помните, как сказал **Диоген**, когда к нему обратился Александр Македонский, предложив благодетельствовать? Он гордо произнёс:

— **Отойди, не засти Солнца!**

У министра я бы спросил только, как он представляет жизнь рабочего человека на семьдесят рублей

зарплаты в месяц, если сегодня на Семёновской площади продавали минторговскую черешню по шесть рублей за килограмм.

Но я-то ещё богач по сравнению с теми миллионными бабок и дедок, на плечах которых в войну мы выстояли. Как же им приспособиться к теперешней жизни? Собираются повышать пенсию. А сколько раз вы себе понижали? А посмотрите на город, — сказал бы я высокому начальнику. — Разве так позволительно к земле народной относиться? — Земля должна плодоносить — вот её предназначение — и в городе, и в деревне. А ваши службы превратили её в бескрайнюю свалку мусора, вместо садовника и толкового специалиста содержите мусорщиков и подметалов при дворах. Не дорогое ли это расточительство?

Я был оптимист и верил в диалог. Диалог не состоялся. Министру не захотелось иметь дело с дворником-мусорщиком. В конторе работают по показателям. А разве нищенская моя жизнь — показатель?

За три майских праздника многочисленные декоративные растения на моей территории превратили детские дворики в настоящую свалку-мусорку после своего весеннего цветения. Всю землю усеяли бордовые червеобразные гроздья, лепестки, обрывки зелёных нитей, пригоршни мелкого зелёного горошка. Я за два часа так накувыркался с метлой да лопатой, что с бровей моих капали капли пота. Остановился дух перевести. А тут вижу, как из-за угла дома выскочил высокий седовласый мужик с бледным лицом столоначальника.

На нём была белая майка, спортивные брюки с яркими лампасами. Столоначальник направился к стадиону, прижимая к груди для нагрузки две гантелины. На его лице поселилась решимость покончить с брюшком,

которое под его майкой колыхалось, как студень в мешке. Мужик убегал от самого себя, не разумея всей бесполезности свершаемой работы: накапливая жирок и наслаждаясь сытными кусками, транжирил добытое не своей, а трудовой рукой. А теперь транжирит энергию, избавляясь от жировых наслоений. Небесполезный ли сизифов труд — выдача в воздух бесполезной энергии?

Нет, это не толстяк бежал. Это бежала сама наша система. Бежала от себя. Но далеко ли от себя убежишь?

А что на это сказал бы Диоген Синопский?*

1989 г., г. Москва

* Диоген Синопский жил в 3 веке до н. э. — древнегреческий философ. Практиковал крайний аскетизм. Называл себя гражданином мира. По преданию, жил в бочке.

Диоген стал для потомков символом свободной личности — ни перед кем не пресмыкающийся, сумевший свести свои потребности до минимума, чтобы остаться гордым и независимым, навсегда свободным.

БАНЯ

Баня?.. Баня, скажу я вам, мил человек, самая что ни на есть прилипчивая моя слабость. А радости-то, а здорового духа-то сколько в ней!

Для меня, к примеру, пускай сгинут со свету ванны всякие, каморки с душем жалкие, сауны чиновные паровые. А баню не тронь! Без неё, родимой, вся окружность захирела бы, короста поедом заела бы, вирусы загрызли бы мужика. И грызут.

В баньку собираюсь я с прочувствованием всех шагов своих, а не токмо о теле грешном мыслю, чтоб потешить в тепле да водицей обмыть его.

Видел, как народ на праздник собирается или богомолец на причастие шествует? Вот и я аккурат такой. Глядишь, часом, с полка на вихляния да игру мужичков жиденских и думаешь: спроси ты у меня про какого из них — про каждого угадаю, кто сколько стоит. И что ему на роду написано. **Баня — это зеркало.**

Сообщи тебе также своё соображение по одному вопросу деликатному, не прймай это за насмешку-зубоскалку, насмешничать не привыкши я.

Каждому малому ведомо диво библейское — сад райский. Не мне спорить до одури про то, был оный иль выдумка. А мне сдаётся, был тот сад, да банька в нём зря в писании не значитя. Нет у меня сомнения, что Господь не только сам срубил её, а испытание произвёл на предмет пользы и удовольствия.

Вот закрою веки свои — и на тебе: передо мной солнышком отсвечивает чудо-хатка, и стоит она на лужку цветистом, рядом ручеёк булькает прозрачными

струйками, по камушкам скачет-прыгает, студёностью привораживает Адама и Еву.

И вижу я, преподносит Адам благородный Еве своей возлюбленной веник душистый, берёзовый, а веточка каждая с трепетными листочками резными. Охаживает райская птичка, взобравшись на полоч, этим веничком берёзовым чресла прелестные свои, ухая и повизгивая от остроты чувствований, чтоб познать затем, прильнув к ручейку студёному, блаженную лёгкость во всём теле обновлённом и воспылать любовью великой к продлению жизни.

А не будь бани райской, повлекло бы, потянуло бы к яблоньке Еву, томимую жаждой женской и желаньем сладостным? Ой, не был бы надкушен плод сей запретный! А что было бы? Мир был бы пуст и нем, вот что скажу.

А не после ли бани, после этого божественного ритуала человек способен впитывать в себя всю прозрачную свежесть и мощную целебность ручейка?

И смекни, не похоже ли это действие древнее да удивительное на закалку подковы в кузнице? Ещё как похоже! От меня, мил человек, после бани всю неделю хворобы, как боб от стенки, отскакивают. Уж какая там хворь, коль тело поёт и дышит каждой своей порой откупоренной, каждой клеточкой разбуженной!

Веник я предпочитаю берёзовый. Сунешь его в узвар, вскинешь к потолку, встряхнёшь, повертишь туда-сюда, да и снова повторишь, над камушками попридержишь. Веник дух бани взбирает в серёдку свою, чтобы потом ответить телу лёгким горьковатым дыханием, окутывая его. Только успевай охаживать, охаживать себя да поворачиваться!

А дубовый веник? Да им — как доской по заду! Канитель одна с ним: листья, знамо, широкие, дебелие, а распарятся — тяжёлые станут, что ошмётки подошвы.

Заядлость к бане у меня, знать от родителя пришла-прилипла, а к нему — от деда. Не дам соврать себе, но батька сказывал как-то про дедушку своего, а моего прадеда, который сто одиннадцать лет жил в здравии.

Бывало, на улице мороз лютует, а дед набросит на голяка тулуп да на босу ногу в баню чешет огородами по тропинке в сугробах. А случалось, соседа встретит, одетого в шубу да валенки, покалякает с ним о том-сём. А под пятками лужица натаяла. До смерти никогда хвоями не маялся, десять сыновьев и пять дочек замастырил. А срок свой почуял, надел пару погребальную, лёг вечером на лавку, сложил руки на груди, да и преставился, не ойкнув. Могучий дед был! Мы против него мелюзга, хоть и хорохоримся. Но то песня другая.

Я вот про веник никак не довершу. Вот он, на — поддержи. Ёмкий? А ить три раза отделал себя, а вишь, листок к листочку. У него каждый листок что та ладошка ребячья — нежная, мягкая, прикладывается к телу ровненько. А глянь, своими зубчиками резными он каждую пору отмыкает, словно ключиком волшебным, каждый капиллярчик прощупывает да пробочку откупоривает. Распахнётся тело для вздоха глубокого, потому что к нему листочки берёзовые шелковисто прильнули, будто тайну о воде живой поведать вознамерились.

У нас в деревне у каждого хозяина, считай, своя баня. А в других посёлках и общественных понастроили. Не их бранить: дело доброе, если о людях забота. И вот что скажу тебе, мил человек, баня воспитывает часом. Я сам свидетелем случился как-то. В гостях дело было не так давно. У кума гостевал.

Кум веничком снабдил, и потопал я в общественную баню... Попарился от души, выхожу в предбанник

плотнуть свежести и слышу, как молодой козлик этакий к банщику обращается:

— Эй, дед, шкандыбай сюда, шмотки залапить требуется!

Ну здесь, мил человек, я вам скажу, и началось. Банщик, как тот петух, подступил к пареньку да как отвесит ему леща по голой, извините, заднице с сопровождением таким:

— Как ты сказал, басурман? Шкандыбай? Вот я тебе и ещё разок зашкандыбаю!

Банщик снова ступил к пареньку, а тот ходу. А он ему вслед:

— Я тебе покажу шмотки, неуч безродный! Ну слышали вы, люди добрые, язык этого поганца, а? Заааа-лапаю! — передразнил дед, не на шутку распаляясь. — Да тебе за такие слова басурманские рот поганый зашить надо! Будто и языка мамино не слышал, а? Где же они учатся речь родную коверкать? Над словом родным измываются!

Ну я вам скажу, речь была пронзительная! А когда виновник конфликта встрял снова со своим тарабарским словом, сказав:

— Дед, что это за хохмочки?

Банщика будто пчела ужалила:

— Ах ты, дикарь безродный, ты за своё опять? Посидишь у меня до ночи. Может, вспомнишь речь родную.

Больше часа держал банщик паренька в предбаннике. Я за это время три раза на полку забирался.

Сидит красной тот уличный, зубами щёлкает от холода, а банщик не замечает его. Потом дошло, наверно, козлику несмышлёному о позоре своём, и говорит он:

— Д-де-душка, б-больше не буду... Отдайте мне одежду...

— Помылись уже, молодой человек? С лёгким паром! — и отпирает ключом шкафчик. Повернувшись ко мне, дед по-заговорщицки подмигивает, улыбаясь.

Я в ответ тоже подмигиваю, одобряя всей душой деду педагогике. И думаю:

— Хороша же ты, русская баня. Большую силу ты даёшь человеку.

Вот так, мил человек.

1990 г., г. Москва

ВСТРЕЧА НА ТРОПЕ

Тропа за воротами выводит к Глебовскому полю. Просторное, тихое, безлюдное. Почти рядом — слева шагают деревянные опоры электролинии, увязшие в снегу своими железобетонными пасынками, а на проводе чернеется ворона, будто клякса на белом листе. При моём приближении она очумело каркает, срывается с провода и уносится в сторону деревенских усадеб. Приправленное морозным перчиком декабрьское надвечерье догорает у меня за спиной и, поскрипывая, со звонцем отсчитывает каждый мой шаг: рып-рып...

Зимняя картинка завораживает. Поле белоснежно и торжественно. Небесный разлив, подёрнутый розовинкой заката, — такой бескрайний, такой бездонный. Сколько ни шарь глазом — не за что зацепиться: безоблачная синь!

Впереди справа снежная даль обозначена пятнышками деревенских построек, где на пригорке голубеет купол Храма...

В моей душе смирно и так хорошо, так возвышенно от мысли, что вот посчастливилось очутиться наедине с родной природой в благословенном уголке, созданном для житейских радостей человека!..

Останавливаюсь, оглядывая неповторимую картину. Впереди уже различимы контуры деревенских усадеб, кое-где над крышами — столбик печных дымов. Создаётся впечатление, что поле подступает к самим усадьбам, хотя между ними — глубокая впадина, в которой затерялась безымянная речушка.

И там, на самом краешке поля, вдруг примечаю чёрное пятнышко. Оно шевелится: кто-то идёт от деревни

мне навстречу. Через минуту пятнышко превращается в карандашик, движущийся по страничке поля. Иду и вижу: карандашик становится человеком. Это — мужчина, шагающий споро и размашисто: видно торопится.

Появление встречного почему-то мне не нравится, и я в нерешительности притормаживаю ход. Уже отчётливо видны приметы этого человека: широкоплеч, коренаст. Одет в чёрную кожаную куртку, на голове не зимняя ушанка, а спортивная вязаная шапочка, низко надвинутая на лоб. А у меня мысль одна — тревожная: «Зачем он здесь? Кто он — этот незнакомец? Сторожа соседних дач меняются по утрам.»

Если предположить, что незнакомец из деревенских, то это маловероятно: на безлюдных зимой дачах, естественно, дел никаких нет. Да и для запоздалого дачника время не подходящее, чтоб на ночь глядя сюда ехать. Тем более, что в расписании электричек ещё не закончился трёхчасовой перерыв.

Пока в голове проносятся эти мысли, расстояние между мной и встречным человеком сокращается настолько, что можно уже хорошо разглядеть спешащего навстречу мужчину.

А когда до него остаётся шагов с полтора, вижу: незнакомец торопливо суёт правую руку в карман куртки и, замедлив шаг, воровато оглядывается, нет ли кого сзади... Я почувствовал опасность, исходящую от этого человека, а под рюкзаком за моей спиной чувствую прикосновение ледышки, это — страх...

Никому не поверю, что отважные и смелые люди не ведают страха перед опасностью или угрозой для жизни. Иное дело: они не допускают, чтобы внезапное чувство страха переросло в панику. Страх мобилизует на действие, а паника парализует волю. Паникёр — всегда жертва.

Я ещё раз внимательно и цепко всматриваюсь в лицо незнакомца. За свою долгую жизнь я побывал в разных передрягах и по-разному выходил из них: то битым, то победителем... В последней стычке с враждебностью, а это было прошлым летом, я победил потому, что не забыл — главное правило при угрозе: не теряйся, нападай первым!

Случилось это в Москве. В то утро жена попросила меня сходить на соседнюю улицу, куда по утрам привозили бочку со свежим молоком. Сходил. Возвращаюсь. В руке у меня двухлитровый бидон с молоком. Из-за угла нашего дома в изрядном подпитии, навстречу мне идут два парня. Один из них — высокий, тощий очкарик — еле держась на ногах, штормовой походкой, спотыкаясь, проходит мимо меня. Второй — невысокий, бритоголовый с расстегнутой до пупа летней рубашке — не идёт, а прёт, как танк, прямо на меня.. На ходу тянется рукой к бидону, нагло требует:

— Д-дед, д-дай пива попить!

— А может, и закусить на тарелочке подать? — бросаю ему в ответ, сторонясь.

— Ах ты, старый осёл, сейчас я те как вмажу!

Матерясь, бритоголовый хулиган выпускает в мой адрес целый арсенал нецензурных слов и пытается меня ударить. Увернувшись от удара, делаю шаг в сторону, а правой рукой обрушиваю на его бритую голову бидон с молоком. Парень падает. Не ожидая, пока он очухается да не подбежит на помощь его дружок, быстро ретируюсь: на счастье подъезд моего дома рядом!..

...Вот и сейчас внутренний голос приказывает мне: стоп! Соберись...

Подчиняюсь и вижу: передо мной вор и бандит Лёха Корч, а это значит встреча будет серьёзная...

Наши с ним дороги пересеклись в первый год моего председательства в дачном посёлке. И то знакомство тоже было зимой, в январе.

Тогда в нашем посёлке случилось несколько взломов и краж. У моего соседа «увели» электропилу, припрятанную на чердаке садового домика, у другого хозяйина — дорогостоящий набор слесарных инструментов. А у некоторых прибрали к рукам алюминиевые стойки от парников, кухонную утварь и многое другое.

Тогда — дня за три до Рождества — я приехал в Глебово ещё затемно на первой утренней электричке. За деревней стал на лыжи я поехал прямо через поле к берёзовой роще, которая примыкала к нашим участкам с юго-востока, а с противоположной стороны — к деревенским участкам Глебова. Отсюда чаще всего совершались набеги на наш и соседние дачные посёлки...

Уже рассвело, когда я, подъехав к березняку, наткнулся на свежие следы. Пригляделся: они вели к нашим участкам. «Грабитель», — подумал я. Вскоре следы привели к забору одного из крайних дачных участков. Перед ним снег был вытопан, но следы продолжались и за забором, и вели к садовому домику.

Оставив лыжи, я перелез через забор. Зарядил на всякий случай ружьё, которое я всегда брал с собой, чтобы побродить по лесу. Свернул за угол домика, увидел раскрытые створки окна. Оттуда послышался звон разбитой посуды: пришелец хозяйничал. Ступая осторожно, чтобы не спугнуть, я приблизился к окну. В комнате, оклеенной голубыми обоями, перед шкафом с посудой стоял невысокий коренастый мужчина, одетый в старую тужурку.

Мужчина был поглощён своим занятием. Стоя к окну спиной, он доставал из шкафа ту или иную посуду, мельком осматривал её. Если посуда ему не нравилась, пришелец остервенело швырял её об пол. Подходящую для него посуду, он складывал в чёрную сумку, находящуюся рядом.

— Стой, руки вверх! — крикнул я и для острастки бабахнул из ружья. Реакция чужака была мгновенной: он от неожиданности аж присел, выронив какую-то посудину. Я скомандовал встать и медленно повернуться к окну. Ко мне повернулся мужик лет тридцати. Скуластый, лицо усеяно рябью веснушек, переносица большого носа вдавлена: след давнишнего удара, наверное, в драке... От пришельца вдруг пахнуло испарениями свежей мочи: до голенища кирзового сапога штанина дымилась парком... Под моим конвоем рябой нехотя, огрызаясь через плечо, доплёлся до сторожки.

Я позвал сторожа и попросил принести ключ от сарая.

— Отпусти, начальник! — подал хрипловатым голосом задержанный. — Ноги не будет здесь моей, гадом буду!

— Будешь гадом? Не смейся! Ты давно законченный гад. Обираешь людей, которые, может, за последние рубли покупали то, что ты бездумно швырял, разбивая вдребезги. Нет уж! Сейчас вызову милицию, пускай с тобой разбираются. А пока посиди в холодном сарае.

Вместе со сторожем мы затолкали в пристройку задержанного, который прошипел:

— Ну, председатель! Мы ещё с тобой встретимся...

Я вызвал милицию...

Рябой — тот самый рябой с перебитой переносицей — в трёх шагах от меня... Лёха Корч... Он скалит рот с двумя выбитыми зубами и со злорадной ухмылкой простуженным голосом сипит:

— Привет, хрыч недоделанный! Вот мы с тобой и встретились. Как я ждал этого момента!

Он посылает целую обойму нецензурной брани в мой адрес. Смотрит по сторонам. И чтобы подкрепить своё блатное красноречие, Корч картинно выдёргивает руку из кармана куртки, а в руке, будто копируя оскал владельца, — нож, кроваво сверкнувший отражением солнечного заката.

Лёха Корч принимает боевую стойку, держа нож пыром на уровне пояса. В серых раскосых глазах искрится огонёк мстительного торжества.

Мой визави даже медлит с расправой, как мне показалось, наслаждаясь чувством своей разбойной власти и уверенности в своём превосходстве над «хрычом».

Наверно, это обстоятельство отвлекает внимание бандита, он не видит, как я выдёргиваю из кармана своей куртки правую руку, в которой сжата горсть песка, смешанного с солью и табачной трухой, не успеваешь отшатнуться, когда я швыряю ему в глаза своё неприметное оружие. Корч роняет под ноги нож, обхватывает обеими руками лицо, переламывается в поясе и взбешённо орёт: Ах пидер, ах падла!..

Я немедленно прекращаю жаргонное красноречие, бью ногой, как по футбольному мячу, в склонённое лицо. Рябой опрокидывается навзничь, вижу на снегу его руку, только что державшую нож. Широкая, как солдатская лопата, ладонь. Пальцы толстые, короткие. Запястье охвачено синим обручем татуировки. На фалангах — также синь тюремной символики... Поверженный жалок в эту минуту: ноги — взброс, из разбитых губ по уголку рта сочится кровь, капает на снег и рдеет рубиновой гроздью.

Ещё не веря до конца, что уложил бандита — здорового мужчину — торопливо нагибаюсь над тропой, поднимаю нож.

В моих руках он уже не страшен! Он уже повернут в другую сторону. Чувствуя облегчение, будто гора с плеч, внезапно люблюсь грозным оружием Коржа. Поражающий эффект усилен неглубокими пазами по бокам. Рукоятка также интересна — набором разноцветных пластмассовых колец.

Поглядеть бы на меня в эту минуту — картинка из многосерийного боевика: на безлюдной тропе в чистом поле стоит — без шапки — седовласый дед, в двух шагах от него — бездыханное тело.

Дед разглядывает на ладони охотничий нож. Его хотел пустить в ход, поверженный бандит и этот нож не просто нож, а оружие, которое могло стать орудием убийства. Нет, передо мной не жертва. Передо мной — зверь в человеческом облике, выродок. Я знаю имя этого выродка. Это я однажды перешёл его кривую дорожку, сдал в руки правосудия, чтобы перевоспитали... Блажь! Горбатого только могила выправит...

— Ну что пижон, нарвался на рожон?! — громко говорю, переведя взгляд на поверженного врага, будто пытаюсь утвердиться в своей правоте. Осознаю, что Лёха Корч — уже не тот бродяга в забулдыжной фуфайке, а фартовый блатарь, одетый в приличную кожаную куртку... Ранг повышен, что ли, в его паразитском существовании? Ещё два года назад он по-собачьи скулил передо мной, а по его испитым до желтизны щекам катились слёзы жалкого бродяги-воришки... Теперь он шёл на меня решительно и нагло: был уверен в безнаказанности.

Это он пренебрегал законами, не признавал заповедей людской морали и веры, презирал жизнь человека, занятого полезным трудом. Она в его глазах не стоила ломаного гроша. А когда чья-то жизнь вставала на его пути, становилась помехой для его примитивного потребительства, для повседневного животного довольства и бездумного существования, он стремился устранить эту помеху жестоко и решительно. Ему даже не приходила в голову мысль, что уходит человек, занятый добрым делом...

Эти люди — со звериным нутром, в них преобладают животные инстинкты. Такие не способны постичь и оценить простую истину: жизнь человеку дарована свыше — самой природой, высшей силой; что есть жизни, которые влияют на духовное развитие общества, которые одарены талантом — качеством неповторимым, бесценным.

Живя на даче, я слышал кое-что из криминальной хроники... Два юных поддонка проникли на дачу в Перedelкино к писателю почтенного возраста. Пырнули ножом сзади, когда тот сидел и работал над своей рукописью. Неужто у нормальных родителей рождаются подобные чудовища? Да, к сожалению...

А недавно радио сообщило о жутких подробностях гибели ещё одного писателя — он пал от руки собственного сына-наркомана: зарезал отца за то, что тот не дал ему денег на дозу... Всё чаще и чаще дьяволизм поражает людские души...

Такой же моралью живёт и Лёха Корч. У него своя, чёрная шкала оценки человека: тот, кто с ним на «деле», кто свой «кореш», — ему почтение.

Остальные люди — это «мусора, бабеги, битки, сибурухи, хрычи...».

Нить моих размышлений внезапно обрывается: слышу стон. Придя в себя от общения с сапогом, Корч стонет. Стонет жалобно, как дитя во сне.

От этого звука все мои сложные мысленные конструкции рушатся, превращаются в бесформенное крошево все формулы здравого смысла: человеку больно... и пускай он и враг... Жалобный стон дотрагивается до живой струны моего доброго сердца — и оно отзывается чувством сострадания.

Мне становится искренне жаль распростёртого на снегу человека. Возникшее чувство застит голую реальность, относит её куда-то в тень моего сознания, я на миг забываю, что передо мной — жестокий, неизлечимо порочный человек. В голове уже мелькает аргумент в пользу смертельного врага: а может, он вынужден был идти на злодейство не по своей воле... Разве такое не бывает в нашей жизни?

Но, спохватившись, выбрасываю из головы этот, пусть даже и слабый, намёк на оправдание своего смертельного врага. Иначе получится некая сентиментальная демагогия, иначе в итоге получится, что жертва не я, а он, ставший на моей тропе, чтобы убить.

Возможно, кто-то, оценивая этот мой житейский случай, посчитает, что мне — пожилому человеку — просто повезло: выстоять в схватке с крепко сбитым и вооружённым негодяем. Не буду спорить — возможно... Но у меня свой взгляд на случившееся: руку злодея отвёл сам Создатель.

Уверен я, что добрая воля руководила мною, когда, выходя из дачного домика, вдруг вспомнил о целлофановом пакетике с песком и солью и — на всякий случай — насыпал горсточку «адской смеси» для самообороны в карман куртки: «рецепт» моего давнишнего товарища-

журналиста. Он испытал это незаметное оружие, когда однажды в вечернее время к нему пристали два крепких парня, пытаясь ограбить. «Я их положил штабелем», — гиперболично выразился он.

Добрая воля подсказала мне, как вести себя на тропе при встрече с врагом. Это она решила, кому быть битым, поверженным. Сам Бог решает, где и когда поставить точку в судьбе каждого человека...

Его невидимая воля была рядом со мной и тогда, когда я делал свои первые шаги по жизни. Даже и сейчас, когда прошли уже десятилетия, при воспоминании о случае в детстве мне под рубашку забирается мороз.

Я, четырёхлетний деревенский мальчик, однажды летом увидел с крыльца нашей избы, идущую с покоса маму. Просияв от радости, метнулся в сени, шустренько вскарабкался на табуретку, стоявшую рядом с пустой бочкой из-под капусты, а затем перелез через край бочки, притаился в ней. А мама, как только вошла в сени, бросила туда вилы, которые несла в руке. От неминуемой беды меня спасло поистине чудо: будто кто-то шепнул мне сесть в бочке спиной ко входу. Вилы, падая под углом, пронеслись в каком-то сантиметре от моей головы, задев одним зубцом только ножку. Я, понятно, заорал от боли. У мамы — шок...

Вижу: злодей уже приходит в себя и даже делает попытку встать на ноги. Он, возможно, вспомнил, что с ним произошло, и наверняка сделает попытку выкрутиться...

А я стою, держа в правой руке нож, предназначенный для расправы со мной. Закатный луч своим отблеском кроваво метит лезвие ножа. Его высверк напоминает мне

истину о том, что законы войны беспощадны, что врага либо уничтожают в бою, либо берут в плен. А мне-то что делать, как быть?.. Да, я победил в схватке. А кому сдать пленника? По какому закону решать его судьбу? Ведь он завтра может повторить свою чёрную попытку...

Рябой, подтянув ноги к животу, поворачивается на бок, чтобы легче было встать. На какой-то миг я представляю себя на его месте: лежу недвижно среди снежной тишины в поле, а в ногах у меня стоит Корч, скалясь щербатой челюстью, в глазах у него огонёк торжества победителя. С окровавленного ножа падают на снег капли крови...

Воображение карябает по спине холодом, ладонь крепче сжимает трофейный нож. В душе — всплеск возмущения: открытая только для добрых дел, моя душа протестует. В груди чувствую жжение, будто сильная жажда одолевает меня... Это ко мне возвращается — чувство реальности. Оно требует от меня решительного поступка в ответ на обиду, причинённую злом.

Я не успеваю принять решения, как морозную тишину разрывает тирада отборной брани Корча, вставшего уже на карачки. Его злобный сипатый голос вдребезги разбивает всю мою заумную логику добряка. Теперь она мне кажется никчёмной. Вместо неё, неприемлемой по отношению к осмысленному злодейству, требуется логика справедливости: дьявольская суть, скрытая во многих до поры до времени, неистребима, коварна, требует адекватного решительного действия.

Мой враг отлежался, оклемался. Он снова стал опасен, снова не скрывает агрессии. Мне остаётся одно: упредить, уложить на снег.

И я бросаюсь к стоящему уже на карачках и готовому вскочить на ноги бандиту и ещё раз бью со всего

маху по голове. Корч снова падает на спину вдоль тропы. Но сознание, вижу, не отключается: его серые раскосые глаза наливаются, округляясь, животным страхом. Видит, что я с ножом подступаю к нему. Нож держу пыром — точно так, как держал его Корч при встрече со мной.

— Да, блатарёк, я могу зарезать тебя, как свинью. И рука моя не дрогнет, и отвечать не буду! А почему — усёк? Правильно... при обороне. Всё ещё надеешься выкрутиться? А слабо в доску пустить? Этаким смирянгой выглядишь, побитым, жалким. На милосердие рассчитываешь, пёс? Знаешь, как про таких, вроде тебя, в народе говорят? Прост, как свинья, а лукав, как змея... У меня есть резон сейчас же выпустить твой поганый дух!

Вскидываю к плечу правую руку с ножом, делаю два шага к лежащему на снегу Корчу. Тот дёргается ногами, выбрасывает перед собой ладонь правой руки, как бы заслоняясь от меня, ошалело сипит:

— Не надо... не убивай... жить...

— Ах ты, барахло трусливое, жить хочешь? Да тебя мало убить! Я сейчас тебя располосую, чтоб собаки по кускам сожрали...

Я обхожу сторонкой лежащего бандита и становлюсь в головах, продолжив «выпускать пар»:

— Твоим же ножом разделаю!

— Не надо, начальник... Я не хотел тя в доску пускать... Хотел только, чтоб ты прибздул...

— Припугнуть? А за что? Собирался отомстить за то, что я застучал тебя?

Корч не отвечает на вопрос, боится, наверно, ляпнуть невпопад. Потом просит:

— Опусти нож.

Я опускаю нож, становлюсь на тропу, чтобы продолжить давить на психику негодяя. Глядя в измазанное кровью лицо Лёхи Корча, припоминаю кое-что из словаря воровского жаргона, говорю:

— Если хочешь живым уйти, не трави баланду. Босогон у меня не пройдёт. Говори, кто тебя толкнул на дело, кто кореш? Колись!

— Откуда, хрыч, по фене ботаешь?

— От верблюда... Много хочешь узнать — простудишься. Не надейся на тары-бары... И запомни: ещё одно движение — проткну. Давай — колись, последний раз твою мельницу слушаю!

— Ладно, хрен с тобой! Замётывай, начальник: меня застукал индюк ваш.

— Наш участковый? Жабин?

— Он...

— Дачу чистил или что-нибудь мокрое?

— Пришил одного...

— И тебя выпустили? Услуга за услугу?

Корч не отвечает, сообразив, что лишку сболтнул.

— Не валяй дурачку, колись дальше.

Я снова поднимаю к поясу нож, делаю шаг к лежащему. Он снова выбрасывает перед собой лопатистую ладонь, как и несколько минут назад, сипит:

— Чё дёргаешься? Ступай ближе...

Держа наготове нож, я делаю шага три-четыре к Корчу, наклоняюсь над ним.

В этот же миг Корч, прикинувшись немощным, энергично отталкивается от примятого под ним снега, пытается ухватить меня за грудки своей лапой. Я едва успеваю отскочить от него на тропу, говорю:

— Не балуй, гад! Ещё дёрнешься, проткну, как дерьмо! Давай колись! Как узнал, что я на даче живу, что к электричке пошёл?

— Твоя взяла, хрыч... По мобилу брякнули...

— Где мобильник?

— В багажнике.

— В каком?

— В прикиде... В правом... нагрудном...

Приставив лезвие ножа к шее поверженного блатаря, достаю из кармана куртки телефон и снова спрашиваю:

— Кто звонил?

— А пёс его знает... Видать, по уговору с кентом...

— Ты сечёшь, на кого тень наводишь? По-твоему, участковый с тобой в сговоре?

— Дошло тебе, как жирафу, на третьи сутки... Агент выпас тебя... последний раз брякнул, когда ты к сторожке закандыбал.

— А как ты примчался из города? По воздуху?

— Я в деревне у кореша заховачился, пока ты на даче торчал.

Мне вспомнилось, как Смигрович стоял у своего забора, как метнулся за калитку, не желая быть узнаваемым... Значит, Корч не лгал...

— Всё сказал?

— Всё! Отпусти, хрыч, гадам буду...

— Заткнись! — перебиваю хриплую тираду блатаря.

— Гляди сюда! Вот мобик, где звоночки все замётаны. Усёк? А вот ножичек с отпечатками твоей лапы. Соображаешь, к чему веду?

— Не маленький... Отпусти, начальник, не полезу в твой огород, гадам буду...

— Не верю я тебе, кардун... Но запомни своими кривыми мозгами, что второй раз зухера, как ты ботаешь, не будет. Труповозкой закончишь!

Я поднимаю лежащую на снегу меховую шапку, засовываю в карман своей старенькой дублёнки мобильный телефон, прячу в рукав бандитский нож, отправляюсь по тропе, не взглянув на всё ещё лежащего на снегу бандита.

Через некоторое время электричка, вынырнув из-за лесного поворота, медленно подносит к платформе свой тусклый в сумерках факел прожектора.

Сажусь в первый вагон. В голове неотвязные вопросы: «Кто заказал? Кому я как председатель насолил, кто стал моим смертельным врагом... с участием продажного милиционера?»

Ясно одно: в милицию обращаться — дело гиблое! Только лишние заботы себе на голову...».

2002 г., г. Москва

НАША ИСТОРИЯ

**175-ЛЕТИЕ РУССКОГО НАРОДНОГО
ГИМНА***Эссе*

6 декабря 2008 года исполняется 175 лет со времени первого официального исполнения нашего русского народного гимна «Боже, Царя храни».

Автором музыки был известный в то время композитор, знаменитый скрипач, государственный деятель Алексей Фёдорович Львов (1798–1870 гг.).

Автором слов гимна — замечательный русский поэт и переводчик Василий Андреевич Жуковский (1783–1852 гг.).

История создания национального гимна такова: в 1833 году Николай I (1796–1853 гг.), российский император с 1825 года, предложил Алексею Федоровичу Львову через русского государственного деятеля, графа Бенкендорфа Александра Христофоровича (1783–1844 гг.) создать гимн, который был бы понятен для каждого русского человека. Согласившись, композитор понимал всю трудность предстоящей задачи. В своих «Записках» («Русский Архивъ», 1884 г.) А. Ф. Львов вспоминает: «Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, годный для войска, годный для народа, от учёного до невежи. Все эти условия меня пугали, и я ничего написать не мог. Однажды вечером, возвратясь домой поздно, я сел к столу — и в несколько минут гимн был написан».

На следующий день А. Ф. Львов отправился к В. А. Жуковскому с просьбой написать подходящий текст к гимну, и тот охотно согласился.

Вот и вся история создания нашего гимна.

23 ноября 1833 года до «официального» публичного появления гимн был показан государю. Император Николай I внимательно прослушал несколько раз произведение в исполнении хора и оркестров военной музыки, подошёл к композитору, обнял его, поцеловал и сказал: «... Ты совершенно понял меня».

За это сочинение А. Ф. Львов получил Высочайшую награду — золотую табакерку с крупными бриллиантами.

6 декабря 1833 года гимн «Боже, Царя храни» был впервые официально исполнен в Большом театре в Москве по случаю тезоименитства* императора. Вся присутствующая в театре публика выслушала гимн стоя. По их требованию исполнение повторялось трижды. И все три раза собравшиеся слушали гимн стоя.

К концу декабря того же года русский гимн «Боже, Царя храни» звучал уже и в залах Зимнего дворца.

До этого в России не было своего гимна, а в торжественных случаях в Зимнем дворце исполнялся английский гимн, написанный великим Генделем.

Октябрь 2008 г., г. Москва

* Тезоименитство — день именин членов царской семьи или иной высокопоставленной особы. В настоящее время употребляется применительно к именам православных патриархов.

МЕМОРИАЛ УГРАНСКИМ ХАТЫНЯМ

Очерк

9 мая 2008 года в Угранском районе Смоленской области произошло историческое событие, связанное с воспоминаниями о жестоком геноциде гитлеровцев на Смоленщине, с памятью о скорбных потерях мирных русских жителей на оккупированных фашистами территориях многострадальной смоленской земли в годы ВОВ.

Здесь, на выделенном местными властями участке земли в 1 гектар, на месте спаленной фашистами в 1943 году деревни Прасковки был открыт мемориал «Поле заживо сожжённых» — «Поле памяти» о земляках — мирных жителях, заживо сожжённых, а также сотен русских деревень — русских Хатыней, исчезнувших по злой воле фашистских палачей и более не воскресших.

На скорбном поле были установлены: большой деревянный крест, памятные знаки — камни с информацией о трагических событиях огненных лет (см. фото).



На мероприятии присутствовали руководители Угранского района и области, гости из Москвы, Смоленска, Вязьмы и многочисленные жители окрестных деревень.

Мемориал был освещён о. Валентином.

По архивным данным, в бывших Выходском и Знаменском районах (ныне это Угранский район) с октября 1941 по апрель 1943 года фашистские варвары зверски уничтожили многие тысячи ни в чём не повинных мирных жителей, спалили дотла сотни русских деревень, большинство из которых после войны уже не возродилось.

Страшным преступлением фашистов было сожжение сёл и деревень вместе с жителями, половина из которых была — дети.

Например, в райцентре Знаменка заживо сожжено было 280 мирных жителей, а в деревне Новая Борьба 13 марта 1943 года было сожжено заживо 287 человек. И только по счастливой случайности спаслось и осталось в живых 7 человек, среди которых был малолетний Петя Бычков.

В настоящее время Пётр Афанасьевич Бычков — бывший смертник — единственный оставшийся в живых свидетель фашистских злодеяний проживает в Вязьме.

По решению Угранского Совета «Поле заживо сожжённых» стало филиалом местного краеведческого музея.

Май 2008 г., г. Москва

ПОВЕСТЬ

В ТИХОМ ПЕРЕУЛКЕ

Из записок профсоюзного работника

Аппарат центрального профсоюзного органа, куда меня случайно пригласили работать, занимает пятый этаж большого кирпичного здания в тихом переулке Москвы. В этом районе и метро называется «Профсоюзная».

От подъезда переулок заставлен десятком чёрных лимузинов. Гладколицая шоферня пристроилась за самодельным столиком в тени молодой липы забивать козла... Зубоскалят, матерятся со вкусом.

Наш орготдел занимает три небольшие комнаты, набитые шкафами с полками, стеллажами, столами, металлическими ящиками. В одной из этих комнат пристроились столы инструкторов. К одному из них, стоящему у окна, меня подводит Вера Васильевна Калюкина — заведующая отделом. Теперь это моё рабочее место.

Кроме моего здесь ещё три стола, они поставлены вдоль стен, образуя проход посередине. На каждом из них — письменный прибор, настольный календарь, телефон. Справа — стол Натальи, одной из сотрудниц. Вижу, как зелёным глазком светится счётная машинка, как ловко шустрят по клавишам пальцы Натальи. Она — ноль внимания на громкую болтовню по телефону полной розовощёкой Анны Ивановны Дроновой. Привычка, наверное. Седовласый мужчина с моложавым лицом перехватывает мой взгляд в сторону Дроновой и, подморгнув мне, широко улыбается:

— То ли ещё будет.

В отделе ещё трое мужчин — два заместителя Веры Васильевны и инструктор. Один из заместителей — Анатолий Семенович — мой куратор. Ему лет сорок. Полный,

мордастый, скрывает за тёмными линзами очков свое сильное косоглазие. Второй зам — Виктор Матрук — старше Анатолия лет на пять, носит шикарную рыжую бородку. У него хитроватый прищур неопределённого цвета глаз. Замы сидят в кабинете вместе с заведующей.

Со мной заведующая не только вежлива, но и приветлива, толково объяснила мне обязанности инструктора по кадровым вопросам, познакомила с основными отдельческими документами.

— Входите в курс дела, что не ясно — спрашивайте, — посоветовала она.

Я постигаю азы кадровой работы, внимательно приглядываюсь к новой для меня обстановке, прислушиваюсь к непривычным исполнительским разговорам. Из всех сослуживцев я, выделю, пожалуй, двух инструкторов: Лякина — седовласого шустряка и Наталью — симпатичную, но робкую, молчаливую и уважительную девушку. А вот Дронова не нравится мне своей чрезмерной болтливостью. И она с первого взгляда почему-то невзлюбила меня. Не конкретный ли пример психологической несовместимости натур?

С коллективом управленческого аппарата я никогда не имел дела. Потому был не раз удивлён порядком, узаконенным здесь негласно, а также взаимоотношениям и между сотрудниками.

В аппарате более половины — женщины, и не просто женщины, а почти все разведённые или незамужние, с вздорными строптивыми характерами. Инструктор Нина, женщина лет пятидесяти, пришла сюда из комсомола. Дважды она разговаривала при мне с заведующей — и всякий раз они объяснялись на повышенных тонах. У Веры Васильевны уровень культуры и руководства был,

конечно, невысок, никакого понятия о психологии, о педагогике. Её девиз: «Я — начальник, делай, как велят!»

«Это цирк, а не отдел», — высказалась однажды Татьяна, наш инструктор. Она работает всего два года, пришла из какого-то крупного мебельного магазина, товаровед по специальности. Между ней и Верой Васильевной Калюкиной в первые же дни пробежала чёрная кошка. Своей неприязни друг к другу женщины не скрывают. Татьяна тщательно следит за своей внешностью, всегда модно одевается, почти ежедневно меняет туалеты. Она — полная противоположность заведующей. Иногда я слушаю их мелочную перепалку и думаю: «Зачем же вот так себя истязать, кто же виноват, если не вы сами, что нет у вас семьи, детей?..»

Решаю держаться в стороне от группировок. Мой нейтралитет приходится по душе начальнице, уставшей от склок.

Разговоры в отделе, как правило, не выходят за рамки чисто житейских, а также профсоюзных дел. Литературой здесь не интересуются. Впрочем, Татьяна и Нина кое-что почитывают. Нина выписывает «Литературную газету». Наталья недавно побывала в Большом театре, разговор — одни междометия.

Но для меня эта сносная в общих чертах обстановка — как бы отдушина после «научной» среды, в которой я оказался, уйдя из газеты полтора года назад. Тогда я выдержал конкурс на старшего научного сотрудника в одном из ведомственных рекламно-информационных институтов и занял письменный стол в углу небольшого кабинета.

Работа мне была по душе... И вот новое задание: необходимо было собрать материал для выпуска

брошюры по повышению эффективности использования мелиорированных земель в целях устойчивого наращивания производственного потенциала сельского хозяйства. Более месяца я провёл в командировках, собирая материал для брошюры. Я нашёл свою «золотую жилу». Материал получился серьёзный, внушительный. Я был доволен, строил радужные планы и с энтузиазмом засел за работу, которая полностью поглотила меня, но всё неожиданно рухнуло...

Стоило мне углубиться в материал, сосредоточиться, как ровно в одиннадцать утра над моим ухом раздавался мощный фельдфебельский бас:

— Перерыв! Можно выйти на пятнадцать минут. Открыть форточку!

Так развлекался мой сосед — рослый, широкоплечий кандидат каких-то наук, отставной подполковник, который не хотел менять своих армейских привычек, просто издевался над моим бесправием и не реагировал на мои просьбы прекратить самоуправство. Между нами неожиданно пробежала чёрная кошка и я понял, что с этим «товарищем» не сработаюсь, тем более, что я никогда не был приспособленцем, да и характер у меня независимый, но ранимый.

Однажды я не выдержал и обратился за советом к директору, потом поговорил с председателем профкома.

Мои хождения за справедливостью возымели странное действие: через две недели пришлось написать заявление об уходе по собственному желанию, хотя брошюра, написанная мною, получила высокую оценку.

Работая в институте, я подготовил научный труд и собрался было защищать кандидатскую диссертацию, но в результате конфликта с начальником-самодуром, забросил научную карьеру.

Позже я узнал, что мой начальник отдела был другом директора, они дружили семьями. Подписывая мой «бегунок» председатель профкома не сказала ни слова. Профком, стыдясь, откровенно предавал трудовые интересы своего товарища.

Воспоминанием о том периоде жизни и несостоявшейся научной деятельности осталась выпущенная брошюра с научным трудом, один экземпляр которой я подарил жене с дарственной надписью «моему верному другу и помощнице — моей жене...».

Здесь, в республиканском комитете, мне, наверно, предстояло узнать тайну этого стыдливого молчания профработников, когда администраторы попирали права рядовых членов профсоюза.

И вот моя первая «профсоюзная» получка. Я держу в руке дензнаки, и неясное ощущение какой-то неловкости весь день не покидает меня. Не оттого ли, что вспомнилась вдруг моя первая журналистская получка в районной газете. Её не хватило тогда на то, чтобы рассчитаться с хозяйкой за квартиру и стол, а мой полуботинок предательски разевал пасть. Моя зарплата дипломированного журналиста составляла шестьдесят восемь рублей. Из этой нищенской зарплаты регулярно взимались профсоюзные взносы, да и ещё были какие-то поборы. Тогда я понятия не имел, куда уходила наша подать... За две недели мая я настроил три незначительные бумаженции строк двадцать, отнёс их на подпись: и — получай свои денежки, да ещё премиальные в конце квартала светят...

Первый раз вижу весь аппарат в сборе. В просторном кабинете председателя, куда я накануне заходил с бумагой, сразу стало тесно от принесённых из других комнат стульев.

Это — предпраздничный сбор с улыбками, шутками, репликами. Я незаметно присматриваюсь к своим новым товарищам, прислушиваясь к их разговорам, репликам, запоминая лица, голоса.

Председатель по-хозяйски стоит за своим широким дубовым столом, пребывая в добром расположении духа, шутит. Его настроение передаётся другим.

— Что ж, будем начинать ... Все собрались?..

— Все! Все! Все! — галдят как школьники собравшиеся.

— Вот и хорошо, — добродушно баритонит Дергачёв. — Вижу, у всех отличное настроение. Это понятно... Первомайский праздник для нас, советских людей — особый праздник. Если вы помните историю...

Дергачёв излагает историю рабочих маёвок по программе средней школы, частенько употребляет витиеватые фразы, заканчивает словами о мире, весне, голубом небе, и поздравляет всех с праздником. Подобных простецких «лекций» я давненько не слышал. Из этого собрания я вынес наблюдения за своими новыми знакомыми: в первом ряду сидел почти весь наш отдел — Анатолий, Вера Васильевна, шеф Борисов, Дронова. Они все время старательно «ели» глазами начальство, а бывшему сельскому учителю, наверно, очень нравилось, когда ему смотрели в рот подчинённые. Очень уж старается Дронова. Она в упор показывает свою старательную почтительность. Когда председатель задерживает на ней свой взгляд, Дронова кивает головой, как бы одобряя и поощряя оратора.

После праздничного собрания нас отпускают домой.

Заведующая говорит мне: «Эту папку в архив не сдавать, здесь наша история...» В папке — документы об образовании комитета десять лет назад. В те, вчерашние времена, когда с помпой отмечали пятилетние и десятилетние юбилеи фабрик и колхозных ларьков, наверно, и мы наделали бы шуму на всю российскую ширь.

Комитет был создан в тот период, когда в Москве как грибы росли министерские и другие конторы. Их появление обосновывалось выходом очередной грандиозной партийной бумаги по планированию изобилия в стране, а чаще всего тем, что однажды высочайший взор случайно задержался на вопиющей проблеме страны. Такой взор упал однажды с кремлёвской высоты на российское запущенное и забытое Нечерноземье.. Загрохотали пустые бочки докладов, тезисов, прожектов.

Руководство ВЦСПС, желая угодить своим патронам и одновременно засвидетельствовать профсоюзно-патриотическую активность в решении насущных задач, «предметно ответило на новую заботу партии», выражаясь высоким конторским слогом. Комитет был сотворён «для помощи хлеборобам Нечерноземья» с целью создания очередного бумажного изобилия продуктов.

Будто высокие чиновники не знали, что новый, как и другие многочисленные столичные органы, будет щедро плодить одни только бумаги. Теперь всевозможные отчёты, протоколы бесконечных заседаний обкомы и крайкомы профсоюза посылали уже в два, а иногда и в три московских адреса. Комитет ежегодно обходился членам профсоюза в миллионы рублей.

В свою первую профсоюзную командировку я отправляюсь сразу после своей первой полочки. Меня, желторотого аппаратчика, пристёгивают к заместителю заведующего отделом социального страхования Ионисиани, бывшему тбилисскому служащему, пришедшему в комитет, как рассказал мне листок по учёту кадров, десять лет назад по непонятным мотивам.

К сельскохозяйственному производству этот человек никакого отношения не имел. Много лет он числился тренером в юношеской спортивной школе, а затем физруком в средней школе. Заочно окончил институт народного хозяйства, продолжая работать физруком. Женившись на москвичке, устроился инструктором в только что образованный столичный профсоюзный орган. Года через три-четыре дослужился до зама и был доволен своей неожиданной профсоюзной судьбой, открывшей ему путь к тем привилегиям, которые раньше ему бы и не снились. Курировал Ионисиани сельские здравницы.

В Кургане нас встречали на железнодорожном вокзале. Меня на «Волге» доставили в гостиницу, а мой сослуживец сразу — «с колёс» — отправился в какой-то санаторий инспектировать работу. Больше в Кургане я Ионисиани не видел: неделю он «инспектировал» санаторий, где в эти дни отдыхала его жена...

«Ценному» специалисту оплатили и проезд, и командировочные расходы...

Едва я появился утром на работе, вернувшись из командировки, как к моему столу неслышно подкатился Анатолий, проямлив:

— Надо... перенести трибуну... к председателю...

Мы пошли в машинное бюро, где громоздкое сооружение из полированных деревянных плит с инкрустированным гербом ожидало своего почётного выноса. За десяток лет существования комитета эту махину услужливо перетаскивали в кабинет высокого чиновника дипломированные инженеры и зоотехники, ветврачи и экономисты, учителя и торгаши...

Невольно вспомнился анекдот, похожий на нашу с Анатолием ситуацию: на деревенской улице встречаются два мужика, один из них, сгибаясь под тяжестью, тащит на спине трибуну.

— Куда несёшь? — спрашивает другой.

— Да вот захотелось с соседом поговорить, — отзывается тот.

За мои усилия я был вознаграждён: заведующая отделом разрешила присутствовать на заседании президиума, куда инструкторов допускали редко.

В просторном кабинете председателя за Т-образным столом в центре кабинета на мягких креслах с высокими спинками восседали члены президиума. Во главе стола кресло занимает торжественно строгий Дергачёв.

На нём белая сорочка, тёмный галстук, добротный костюм с планкой наград. Остальные приглашённые — заведующие отделами, некоторые из замов — сидели на стульях вдоль стен слева. Нашлось и мне местечко.

Ровно в десять часов главный дирижер «коллегиального» мероприятия строго сказал:

— Начнём. Сегодня на повестке дня пять вопросов...

Заседание разворачивалось по заранее установленному во всех органах шаблону: доклад, прения, постановление.

Докладывать вышла к трибуне круглолицая пышногрудая толстушка, одетая странно: белоснежные босоножки,

синяя юбка и ярко-красная спортивная кофта. Я уже знал эту женщину, заговорившую бойко и уверенно.

Галина Зудилина — секретарь партбюро, заведующая культурно-массовым отделом комитета. К этому — приближённому к самому Дергачёву человеку — я с интересом присматривался.

В «команде» председателя были те, кто неплохо соображал в административной системе: продвижение по лестнице должностей сулило прибавки к зарплате, премии, различные пособия, льготные санаторные путёвки, заграничные поездки. Всё было в руках председателя. Разве не подарок судьбы для Галины — высокий профсоюзный орган? Поработав около года деревенским библиотекарем после школы, она вступила в партию, затем стала секретарём парткома захудалого подмосковного совхоза. Там и «нашла» её Калюкина после своего инспектирования профорганизации и обильного ужина дома у Зудилиной, нашла и привела в нашу «контору». Через некоторое время Галину выдвинули заведовать отделом.

Заместителем у неё — женщина, когда-то закончившая радиотехникум. А вот её «нашёл» и привёл Борисов — секретарь комитета. Разве не будешь дорожить таким уютным местечком, которое ежемесячно обходилось родному профсоюзу в триста и больше рублей?

Спектакль на тему профсоюзной коллегиальности вызвал во мне чувство полного разочарования: заседание было заорганизовано, все обсуждаемые бумаги были составлены Зудилиной заранее. Я убедился, что малограмотная, хоть и бойко прочитанная справка о проверке Воронежского сельского профсоюза по культурно-просветительским делам «в свете требований» очередной высокой партийной бумаги, была откровенной данью плановой обязательке, формальностью.

— Прошу высказаться по проекту постановления, — произнёс Дергачёв, восприняв казённую справку как должное, и поглядел на сидящих смиренно друг против друга своих коллег.

Первым откликнулся Борисов. Он курировал отдел, визировал все документы для президиума, а потому похвалил справку за «глубину», ловко связав весь этот заседательский формализм с заботой профсоюзов о «человеческом факторе». Это странное словосочетание, запущенное в идеологическую сферу высочайшим артистичным чиновником, было мгновенно тиражировано в миллионах, наверно, всевозможных справок, речей и пустословных бумагах.

С освоения броской горбачёвской фразеологии начали чиновники свою **перестройку**. Дальше этого «предметного шага», как выразился на президиуме второй секретарь — Юнак — дело обновления жизни с места не двинулось. Юнак стал нудно рассуждать о роли работников культуры в деле повышения производительности труда сельских тружеников.

Кому предназначалась эта многословная абсурдная декларация? Воронежским профсоюзным активистам?

Но из воронежской делегации здесь присутствовал только председатель обкома профсоюза — человек уже предпенсионного возраста, двадцать лет проработавший в парторганах и за ненадобностью списанный на прокормление в профсоюз.

Ещё один член президиума — заместитель министра — сидел, склонив безучастно седую голову, рисуя что-то на листочке бумаги. Мне показалось, что он, как и я, понимает всю бесполезность подобных коллегиальных «мероприятий».

По-иному вела себя дробненькая веснушчатая доярочка из подмосковного колхоза, впервые посаженная распределительной партийной системой в высокий президиум, подобострастно глазела в рот нашему председателю, который для нее был, наверно, после председателя колхозного правления идеалом руководителя — властным, сильным, симпатичным.

У Веры Васильевны на лице отражалась строгая сосредоточенность, будто она пыталась постичь исключительную важность происходящего, словно здесь решались такие дела, от которых зависела судьба всего государства. Члены президиума дружно проголосовали за постановление, в котором я насчитал более десятка пустопорожних пунктов, начинающихся словами «обратить внимание обкома», «считать целесообразным», «обязать обком», «постоянно совершенствовать работу»...

Принятое постановление было близнецом сотен других, какие я обнаружил на полках в отделе. Все они были как пиджак с одного плеча — от райкома профсоюза до ВЦСПС — многословны и декларативны, только даты под ними стояли разные: 1974, 1982, 1985 ...

Курганская командировка, моя первая и потому памятная, помогла мне более внимательно присматриваться ко всему, что происходит вокруг нашего отдела.

Сравнив Курганский комитет с нашим, обнаруживаю их полное структурное единообразие. Да и остальные профсоюзные органы — центральные и местные — имеют единый шаблон, утверждённое в Москве штатное расписание, единые «показатели» в работе. Странная управленческая пирамида была приспособлена к звеньям административной системы, имела аж шесть

ступенек. Каков практический смысл подобной многозвенности, пожирающей львиную долю подушной подати с членов профсоюза? На этот и другие вопросы я пытаюсь найти ответ.

В отделе с моим приходом теперь восемь человек. С учётом секретаря-куратора на двух инструкторов — один начальник. Мне кажется, что такое бездумное расточительство средств — только в профсоюзах, за деятельностью которых, особенно в высшем эшелоне, нет никакого контроля. Здесь как бы не ведут строгий счёт рублям, поступающим от каждой трудовой полочки членов профсоюза. Счёт в центре идёт на сотни тысяч и миллионы. На бумажную деятельность, на бесполезные заседания расточительство беспредельно. Например, на проведение пленума комитета в июне было израсходовано свыше семидесяти тысяч рублей... А это — две квартиры. Таких пленумов в год — сотни по стране. Кто задумался об этом в профсоюзах? Пока никто.

Расточительство и социальная несправедливость утверждается на моих глазах. Секретарь комитета получает в полтора раза больше инструктора, на котором держится вся работа. Ущемление интересов рядовых наблюдается и в определении размеров «лечебного пособия», скопированного у партаппаратчиков. По такому же принципу делятся и так называемые «остатки соцбытовых» сумм в конце года. Например, секретарь Борисов получил в январе триста пятьдесят рублей, а Нина с Татьяной — по тридцатке.

С куратором Борисовым вижу почти каждый день. Борисов — член президиума. Документы, которые пропускаются в рабочем порядке, а затем оформляются как дань коллегиальной формалистике, визируют все секретари, а их аж четыре — по отраслям.

Однажды я заглянул в личное дело, на папке которого стояла красная цифра 2. Анкета Борисова выглядела как листок чистописания школьника-отличника. После десятилетки сынок полковника погранвойск поступил в пединститут, но, закончив его, не пошел учителем на нищенскую зарплату, а пристроился инструктором в один из московских райкомов комсомола. Затем «педагог» сел за конторский стол, заваленный бумагами, в орготделе ВЦСПС, так и не узнав, как добываются трудовые рубли, отчисляемые на содержание громоздкого центрального аппарата. Подобные мысли вряд ли ему приходили в голову за десять лет инструкторства в профсоюзном столичном штабе. Рождались прожекты иного плана: как взобраться повыше, укрепить личный бюджет?

В те советские времена среди номенклатурной знати в моде были разные учёные степени, все спешили стать кандидатами каких-нибудь наук. Диплом кандидата не только украшал анкету, он открывал путь к власти над «не кандидатами».

История, к сожалению, никогда не расскажет, как учитель русского языка и литературы, всю жизнь свою привязанный к столу с бумагами, знавший о производстве и его экономических законах разве что по газетам и редким инспекционным поездкам в провинцию по бумажным делам, сварганил кандидатскую диссертацию и «успешно» защитился в Тимирязевской академии на экономическую тему. Анкету украсила желанная записка. Так Борисов укрепил свою «номенклатурную» судьбу, будучи сереньким безликим исполнителем и «естественно», был «избран» секретарём профсоюзного центрального органа с вытекающей отсюда высокой зарплатой, привилегированным положением начальника.

Совсем недавно исполнилось десять лет его безоблачного секретарства. Почему безоблачного? Да хотя бы потому, что человек ни за какое дело конкретно не отвечал. Он только «курировал», ставил визы, заседал, сочинял отчеты о проделанной работе, которых никто никогда не проверял и не читал. Жизнь Борисова всецело зависела от бумаг. Вышестоящий орган — ВЦСПС — проверял только бумаги. Поэтому к бумаге, которая обеспечивала благополучие, у Борисова было почтительное отношение. Они, эти бумаги, с визами-подписями и без оных, всегда его выручали, поддерживали на плаву, когда вдруг затевалось бумажно-заседательское слушание «работы» на самом высоком профсоюзном уровне.

Борисов — осторожный, хитрый человек. Каждую бумагу, на которой надо ставить подпись, вычитывает тщательным образом, а некоторые фразы — по несколько раз. Да ещё проверит на слух, как звучит, да голову скособочит, выпячивая ухо навстречу звуковым колебаниям. Дело-то ответственное, бумага выше пойдет, а выше кто? Начальство! Все мои попытки оживить казённый стиль безжалостно вырубались его начальственным пером. Новое незнакомое слово его пугает, он спотыкается на нём, сердится, перечитывая и вслушиваясь тревожно в его звучание. Он не хочет понимать моих доводов о богатстве русского языка, о многочисленных семьях синонимов. Иногда он согласно кивает головой, но потом говорит:

— Правильно, но так всё же лучше будет.

Как-то просит он меня вычитать подготовленный для доклада текст Дергачёву. Я беру да и вычёркиваю бессмысленные словесные нагромождения типа: «Претворение в жизнь революционных по замыслу и новаторских по глубине решений выдвигает перед профсоюзными

организациями в период перестройки принципиально новые задачи в развитии трудовой активности рабочих и служащих».

Борисов страшно гневается, несёт мне постановление ВЦСПС, откуда переписана им пустозвонная фраза, и победоносно смотрит на меня. Документ, подготовленный «там», для него священен, это образец руководящей мудрости.

В нашем комитете секретари и председатель — это руководство. Правда, над инструкторами ещё более двадцати командиров — заведующие и их замы. На двух рядовых — начальник.

В небольшом коллективе из семидесяти человек невозможно скрыть, что у секретарей меж собой — тайная борьба за сферы влияния на председателя, который затеял свою игру — он их по очереди то приближает, то отдаляет, примиряет или сеет раздор. Юнак шепнул Дергачёву, что Борисова застал однажды спящим за столом, а тот через некоторое время донёс на своего собрата, что у него не всё благополучно в семье. Что это? Тактика — с одной стороны, подлость, непорядочность — другой стороны?..

Григорий Юнак — крепко сбитый сорокадвухлетний, простоватый на вид мужчина, попавший в профсоюз из центрального комсомольского органа. У него почти квадратное скуластое лицо с курносым красноватым носом поддавалы, блеклые глаза, прямые жёсткие волосы.

Недостаток своего обличья секретарь старается сглаживать щегольской одеждой, до блеска начищенными модными штиблетами, белоснежными сорочками с яркими галстуками даже в дни июльского зноя... Он постоянно следит за своим парадом и каждый свой рабочий день начинает с надраивания чёрных штиблет в туа-

лете. Для этой процедуры он постоянно носит с собой бархотку. У Юнака есть ещё одна слабость. В четыре часа в комитете открывается массовое чаепитие. Дергачёву секретарша доставляет в чайнике заварку, фарфоровую чашку, сахар, сдобу. Он пьёт чай, просматривая свежие газеты. А Юнак «чайные» минуты любит проводить в обществе молодых машинисток, демонстрируя этим свой профсоюзный демократизм... А мы прячем электроприборы от пожарного инспектора.

В профсоюзных штабах ворочают миллионами народных денег, собранных ежемесячной податью с каждого члена профсоюза. В ВЦСПС этими миллионами распоряжаются по своему усмотрению, отчитываясь за них чисто формально. Органы сами себя контролируют. А на нужды первичных организаций остаются жалкие крохи. Мы до сих пор удивляемся «профсоюзному парадоксу» — премиальные доплаты председателям профкомов на заводах и фабриках выдают не профсоюзные органы, а руководители предприятий.

Поневоле штатному профработнику приходится смотреть в рот своему хозяину на производстве. Посему и продолжается известный танец под ручку с администраторами, несмотря на десятки штабных бумаг об усилении роли профкомов по защите интересов человека труда.

Наконец я нашёл хоть один ответ на вопрос, почему молчал председатель профкома института, где я работал старшим научным сотрудником, когда меня обижал оголтелый чиновник от науки.

А что же здесь, среди «защитников» происходит? О демократизме профсоюзное руководство только разглагольствует...

Как-то с Лякиным мы оказались на одном мероприятии, организованном ВЦСПС. Впервые мне пришлось побывать в профсоюзном штабе. Это было оригинальное с налётом помпезности здание из нескольких корпусов, разбросанных по ломаной линии. Мы проследовали по «кривому дому» с бесконечными кабинетами, помеченными жирными номерами и фамилиями сотрудников. Через несколько минут нашли зал заседаний, уже почти наполовину заполненный. Лякин с некоторыми раскланивался, некоторым по-дружески махал рукой: почти всех аппаратчиков он знал в лицо.

Вот из-за плюшевой шторы на сцену вышли по-праздничному одетые мужчины, стали усаживаться за длинный стол президиума, а мы, примерно триста собравшихся в зале, принялись аплодировать, изображая почтение и радость при их появлении. Затем из-за стола встал, снисходительно улыбаясь, высокого роста черно-волосый мужчина в тёмном костюме. Его узкий лоб, крупная нижняя челюсть неожиданно напомнили мне известный рисунок в учебнике нашего предка из каменного века.

— Это председатель наш, брежневский дружок, — шепнул мне Лякин.

Председатель глуховатым голосом объявил:

— Дорогие товарищи, разрешите нашу встречу с профсоюзными активистами Москвы считать открытой. Наши сегодняшние гости — чехословацкие друзья...

Он важно представил улыбающихся чехословацких профлидеров, затем вышел к трибуне, прочитал какую-то справку об исключительно полезной роли профсоюзов в жизни нашего народа — счастливого и богатого. В ответ выступил один из гостей.

Весь этот парад формалистов был для меня в диковинку.

Ну какой, во-первых, я профсоюзный активист Москвы? Я — аппаратчик, как и все здесь собравшиеся. Я не против приезда к нам друзей за «опытом», ну а зачем ложь на таком высоком уровне? Нас согнали сюда, в этот зал в основном из разных кабинетов «кривого дома». Активистами на встрече и не пахнет.

А во-вторых, люди здесь как бы фон, некая декорация для запланированного «мероприятия». Это типичный спектакль пустословия и показухи.

Впервые встретившись с таким **формализмом на высоком уровне**, я ухватился, наконец, за ту ниточку, которую так долго отыскивал в ворохах бесчисленных, многословных и бесполезных профсоюзных бумаг, на сочинительство и размножение которых с помощью современной техники в одном из восьми многоэтажных корпусов в центральной части Москвы ежегодно в небытие архивов уходит два пультмана отличной писчей бумаги. Но об этом расскажу по порядку.

Так совершенно случайно повернулась моя судьба, что живя полвека на белом свете, я, как-то неприметно став членом многомиллионного формального объединения, вдруг оказался у вершины странной пирамиды, о которой простой трудовой люд по существу ничего не знает, и которая по иронии, а может, и злой насмешке над здравым смыслом, стала именовать себя защитницей народных интересов перед лицом могущественных ведомств. А насмешка в том, что сама профсоюзная система влилась в ведомственную чересполосицу, став штатным властным монстром, ведущим беспрестанно наступление на жизненные интересы своих же членов профсоюза. Страна запуталась в парадоксах...

Готовим документы к очередному пленуму. Дни напролёт сидим на телефонах, над докладом, в котором рассказывается о роли профсоюзных организаций «в мобилизации тружеников села по развёртыванию всенародного соревнования в честь XXVII съезда партии», над многочисленными сводками и справками, проектами постановлений будущего «форума», составлением всевозможных мероприятий.

Больше двух месяцев в нашем аппарате царит нервозность. Особенно достаётся нашему отделу. Суетится с бумагами и Анатолий. Суетливость его ещё заметней, когда он — дипломированный агроном, беспрекословно исполняющий все указания заведующей, с покорным видом мальчишки на побегушках получает нахлобучку от начальницы. Она вдруг открывается властной капризной истеричкой. Эти её недостатки ежедневно обрушиваются на нас.

— У меня задействован весь отдел! — говорит кому-то по телефону Вера Васильевна.

Какое бы дело ни поручает своим подчинённым заведующая, пусть самое нелепое, каждое она сопровождает своей любимой погонялкой «срочно». Потом срочно подготовленная бумага может пролежать без всякого движения у заведующей на столе несколько дней. Зато она изо всех сил старается показать, что руководит нами, чем только создаёт в отделе суету и нервозность.

Мне повезло; заведующая почти не поручает мне никаких своих «срочных» дел. Борисов включает меня в группу по подготовке доклада для Дергачёва. В группе три человека — он, парторг Галина Зудилина и я.

Как мы готовим материал?

Почти каждый день утром собираемся в кабинете у Борисова.

После шаблонной «коронации» Горбачёва печать бурно осваивает целину гласности, целыми косяками внедряются новые понятия, рождается новый публицистический стиль, для печатного слова открываются ранее запретные зоны. Несколько раз в центральной прессе было сказано резкое критическое слово о забвении профсоюзами народных интересов, о смыкании их ведомственных интересов с интересами грабительских ведомств. По всей своей сути профсоюзные органы были на побегушках у министерств и партийных аппаратов. От подобных неслыханных никогда ранее высказываний в рядах «избранных» чиновников — смятение и растерянность.

Они пытаются использовать непривычную лексику печатных изданий, чтобы показать народу — и мы, мол, тоже перестраиваемся.

Не отстаёт в этом плане и Борисов. Почти каждое утро он заставляет меня ходить в профсоюзную библиотеку «кривого дома», выписывать из газет целые абзацы «красивых» рассуждений. Потом мы втроём читаем вслух, выбирая наиболее подходящие для доклада выражения, а Галина Зудилина пишет. Напишет, прочтёт нам. Борисов слушает, скособочив голову.

— Так... так... Ну-ка ещё повтори... Чего-то, кажется, не хватает.

— Да всё нормально, Александр Афанасьевич, — успокаиваю я его.

— Вы так считаете? Что ж, давайте дальше пойдём. Вот у меня статейка из «Труда»... Уж больно хорошо сказано о человеческом факторе. Прочтите, Галина Алексеевна.

Потом он берёт газету с подчёркнутыми строчками. И они живьем монтируют с помощью ножниц газетный

абзац. А иной день работаем только с помощью ножниц и клея. Здесь Борисов проявляет себя непревзойденным мастером. У него собраны огромные запасы вторых и третьих экземпляров прошлых докладов, подготовленных им и другими чиновниками.

Иногда он почти целиком вырезает половину чужой страницы, ловко намазывает ее клеем и приклеивает как продолжение написанного Галиной Алексеевной текста с применением новых словосочетаний, на которые не скупятся газеты.

За трудовой день мы подобным образом конструируем пять-шесть страниц будущего доклада Дергачёва, послушать который приедут члены республиканского комитета с Камчатки и Сахалина, Якутии и Астрахани, Пензы и Калининграда — более ста человек.

Пройдут «прения» по нашему кабинетному опусу, кто-то с трибуны огласит проект постановления, написанного Верой Васильевной тоже с помощью ножниц и клея, люди проголосуют да и разъедутся по домам с чувством исполненного долга. А бумаги мы аккуратно подошьём в папки, на случай проверки вышестоящего начальства.

Бумажки своевременные, созвучные эпохе «перемен», нас похвалят. Не нас, а «избранных», а избранные чиновники отметят инструкторскую старательность скромным премиальным червонцем, присвоив себе право пускать на ветер народные миллионы.

С каждым месяцем круг моих профсоюзных обязанностей, знаний растёт.

Изучена структура комитетов и советов, специфика их отделов. Каждый комитет и совет — это маленькая копия ВЦСПС. В профорганах наиболее многочисленный отдел производственной работы, только в ВЦСПС

он разбит на секторы. Как мне кажется, это своего рода внедренный в профсоюз хозорган, но только со своей спецификой поверхностного знания производственных дел, главный документ здесь — **производственная сводка по регионам**. Валовые показатели. Ни анализа, ни глубокого проникновения в проблемы. Серая сводочная цифирь. Она — и вчера, и сегодня — незаменимый инструмент управления нашим хозяйством, доведённого погоней за валом до ручки.

Столы работников нашего производственного отдела завалены всевозможными сводками о надоях и привесах, о посевных площадях и мелиорированных гектарах, справочными материалами многочисленных российских контор.

Сюда нескончаемым потоком поступают пухлые конверты из областей и краев с бумагами на так называемые «призовые» места в соревновании. Благодаря вот таким бумагам нищее село России не раз с помпой получало «высокую» награду — то какое-то переходящее знамя, то какой-то памятный знак... В отделе готовятся бумаги для утверждения в высоких кабинетах. Судьбу дипломов и премий решают кабинетчики, оформляя для видимости совместные с ведомствами постановления. Сюда почему-то присылают ходатайства местных органов о присвоении почётных званий. Дергачёв ставит свою закорючку, не ведая ни человека, ни его дел, но наличие этой закорючки на бумаге решает: быть или не быть человеку «заслуженным».

Такова суть **профсоюзного бюрократизма**.

И на всех подобных бумагах в отделе «сидит» аж три инструктора, один заместитель заведующего для «руководства» этой бюрократической бессмысленной технологией. Ежемесячная зарплата занятых на этом

«производственном участке» людей около тысячи рублей, а по всей России, а по стране в сотнях профсоюзных комитетах? Команды отделу отдаёт Юнак.

В производственном, как и в остальных отделах, у всех инструкторов зарплата одинаковая, все мы — «двухсотрублёвики». Печальный итог **централизованной уравниловки**. Агроном ли ты, учитель, зоотехник или юрист, инженер или экономист — оплата труда одинаковая. Опытный работник или новичок, энергичный или лодырь, способный или бездарь — уравниловка всех подводит под один шаблон.

С приходом к руководству отраслевым профсоюзом бывшего партийного чиновника высокой номенклатуры приём на работу в аппарат специалистов не агропромышленного комплекса вовсе прекратился. Таков каприз недалёковидного временщика. Социологам, журналистам, обществоведам, серьёзным учёным в профсоюзы поставлен шлагбаум, здесь нужны серенькие исполнители, послушные и поддакивающие.

К журналистам здесь отношение настороженное, даже подозрительное. В комитете я был первым, принятым на работу за последние семь лет. Между тем журналисту в профоргане широкое поле деятельности, здесь увидишь такое, отчего захлестнёт негодование.

А какие здесь зубры административно-командной системы! Я каждый день имею возможность наблюдать за своими профсоюзными начальниками. Каждый из них по своему интересен и каждый влечёт меня как тип. Эти люди влекут меня не только потому, что я могу чему-нибудь у них поучиться, нет. В каждом из них непросто разобраться: они все разные и вместе с тем чем-то похожи друг на друга. Меня занимает мысль: как бедному душой человеку удаётся скрыть свои изъяны, возвышаясь

над остальными? Убеждён, что каждый из этих «избранных» профсоюзных чиновников умело скрывает от окружающих свою суть.

Однако, часто их выдаёт даже походка.

Дергачёв ходить не умеет, он шествует. Нога ступает на пол прочно, будто печатает шаг. Широкоплечая приземистая фигура его с гордо посаженной головой производит впечатление человека, наделённого властью.

Иная походка у моего куратора Анатолия. Он ходит мелкими, чуть шаркающими шажками, будто ведёт за собой ровненькую линию. А когда Анатолию встречается кто-нибудь на пути, он плавно огибает преграду, близорукость выработала в нём привычку ходить с опущенной головой. Его фигура слегка напоминает борисовскую, хотя тот повыше ростом и пошире в плечах.

Борисов тоже ведёт ниточку, но более энергично, решительнее. При встречах он никого не огибает, обходят его, увидев слегка опущенную голову. Начальник идёт, и сразу всем видно, что человек всегда занят серьёзным делом и озабочен государственными мыслями. О том, что он частенько дремлет, особенно в послеобеденные часы в своём кабинете, знают единицы. Но зато все знают, что Борисов постоянно пишет самые ответственные доклады председателю, который очень ценит эту сторону дарования Борисова. Для Дергачёва он — вершина образованности среди подчинённых.

У Веры Васильевны походка усталого человека: ступает она тяжело своими ревматическими ногами. Высокая ростом и, будто стыдясь этого, всегда сутулит-ся. В движениях просматривается вялость предпенсионного возраста, а во внешности — плохо скрываемая неряшливость. Вера Васильевна может появиться утром на работе непричёсанной или, как говорит в «кулуарах»

Татьяна — «лахудрой». «Лахудра» может придти на совещание или заседание в едко зелёном свитере с чёрными кляксами и ниткой дешёвых девичьих бус. А моя начальница, между прочим, получает почти вдвое большую зарплату, чем инструктор.

Часто заведующая Вера Васильевна употребляла фразу:

— Ты не помнишь по памяти, когда мы принимали постановление?..

Или:

— Наташа, обращается Дронова, — Вера Васильевна просила тебя напомнить ей, о чём она хотела тебя спросить.

Немая сцена. Хохот. Реплика Лякина:

— Наташа, напомни ей по памяти.

Пензу в январе завалило снегом. Такого разгула метелей здесь не видели давно. Завалены снегом дороги и тропы.

Председатель обкома профсоюза — мужик словоохотливый, улыбочивый. С улыбкой посетовал на неимоверную тесноту в помещении. Кабинет у него маленький, узкая, как пенал, приёмная. Остальные двадцать работников рассованы по трём небольшим кабинетам: голова к голове. Из-за столов и шкафов в помещении не повернуться.

После непродолжительного разговора со мной председатель приглашает:

— Завтра областной семинар всех районных руководителей по зимовке скота. Проводит его обком партии. Прошу со мной.

Я соглашаюсь.

Назавтра часов в десять утра мы приезжаем на обкомовской «Волге» в совхоз одного из «показательных» районов области, где партийцами намечен семинар по изучению опыта содержания телят...

Оставляю своего шефа в составе начальствующей когорты, вижу — ему по душе быть на виду у единоличного партийного начальника, услужить при случае. И не удивительно: пришёл он в профсоюз из отдела физкультуры при облисполкоме, а в прошлом выполнил планку мастера спорта по велосипедному спорту. Шаткое образование всегда напоминает ему о шаткости карьеры. Потому сговорчивый такой с каждым, кто повыше, потому улыбочивый такой, будто рад моему приезду как родной брат. А областному начальству он и подавно в рот смотрит.

Оставив председателя органа по «защите прав» трудящихся деревни со своими приспособленческими проблемами, иду по незнакомой деревне. В конце её среди сугробов затерялась ферма, которую экскурсантам, наверно, не покажут: один из коровников — с обрушившейся крышей.

Меня обгоняет спешащий к ферме мужчина лет шестидесяти в старенькой фуфайке и замызганной армейской ушанке. Останавливаю его:

— Скажите, пожалуйста, отчего крыша обвалилась? Ферма-то, вижу, новая...

— А чёрт знает отчего! Такие строители, видать, схалтурили... Беды натворила херма, иду сюды, а самому боязно. Это ж плитами тракториста и телятницу расплющило как тесто. Надясь...

Ничего себе школу передового опыта выбрали...

Только вряд ли сюда поведут гостей, думаю, выслушав случайного попутчика. А наш профсоюзный бодрячок трётся о бок секретаря обкома партии, как собачка о бок хозяина. Разве посмеет он высказать ему горькую правду о том, что проводить показуху в хозяйстве, где по халатности руководства погибли люди, осиротели детки — это кощунство, вызов нравственности... Он, знаю, промолчит о глупости своего начальства, их душевной глухоте, захлестнувшем формализме все нынешние властные структуры.

Через полчаса участников семинара на автобусах доставляют в соседнюю деревню.

Там недавно возведён крупный животноводческий городок, разбросавший с десятков своих крытых шифером бетонных хором. Чуть поодаль — водонапорная башня. В стороне, как бы сторонясь, в голом поле сиротливо торчит в снегу щитовой домик.

Экскурсанты разбиты на две группы: одну сопровождает зоотехник совхоза, вторую — директор. Я примыкаю ко второй.

Директор, худощавая, высокая лет пятидесяти женщина напоминает мне Веру Васильевну. И внешне, и даже манерой речи. Она как бы распевает слова, а все слова — о технологии откорма бычков, о рации.

Я, может, ошибаюсь, полагая, что это сельское индустриальное «чудо» не только из вчерашнего, но даже из позавчерашнего цивилизованного дня. Кроме скребкового транспортёра для навоза — никакой механизации работ.

Бычкам здесь созданы хорошие условия, о них красноречиво говорит директор.

А вот люди — люди здесь в счёт не берутся. Ни слова я о них не услышал. Да и что сказать? Бытовки скотников состоят из крохотных помещений, на стенах которых вбиты гвозди для смены одежды. Здесь для них не предусмотрено ничего — ни маленького уголка, где бы человек мог перевести дух, натаскавшись вручную сена, намахавшись вилами. Ни туалетов, ни простейших умывальников — ни в одной бетонной коробке!

У меня пропадает всякое желание слушать дальше руководителя хозяйства — технократа высшей пробы, как говорят. Какой здесь опыт, достойный подражания и изучения руководителями других районов области, если о человеке начисто забыто?!

Подхожу к молодой женщине, спрашиваю:

— Вы довольны работой?

— Где-то же надо работать, — отвечает, смущаясь, телятница.

— Простите за прямоту, а по нужде куда?.

— А чего тут... Бычки ходят, и мы... тоже там. Вон за домом есть из досок сбитая, но мы ни в тот дом, ни за дом не ходим. Туда гостей всяких водят, показывают плакаты разные, уголок красный с телевизором.

— А чай пьете там?

— Некогда чаевничать. От темна до темна каждый день тут, без выходных. Пока на сто языков натаскаешь кормов по три раза в день, руки отваливаются. До чаёв ли нам? Там сейчас наш профком, поговорите, — показывает телятница в сторону щитового домика.

Я отправляюсь туда. Участники семинара уже осмотрели совхозное показное «чудо», а председатель профкома, склонившись над каким-то графиком, выписывает фломастером цифры.

— Одну минуточку, — говорит она хрипловатым простуженным голосом.

Я наблюдаю, как она заполняет цветные клеточки валовыми показателями на ватманском листе.

— Хотите посмотреть красный уголок?

— Хочу...

— Проходите сюда, — приглашает женщина, пропуская меня в чистую парадно оформленную комнату. Здесь стол под малиновой плюшевой скатертью, на тумбочке — цветной телевизор, на стенах — плакаты, портреты. От всего этого парадного великолепия веет казённой нежитью. И тогда я говорю, кто я и откуда. Женщина смущается, поняв свою оплошность.

— Я хочу Вам пожаловаться... Директор житья не даёт. Каждое утро заставляет на пятиминутки к ней ходить, а по вечерам приказывает присутствовать на ферме при раздаче кормов. Без её команды шагу нельзя ступить...

А мне подумалось: «Кто здесь защитит рабочих. Если над их защитником измываются? «

Заворг отдела обкома сопровождает меня по Пензенскому — «краснознамённому» району. По итогам всех прошлых зимовок скота этому району многократно присуждается Красное знамя. Премии, речи, аплодисменты...

Добывали славу району и животноводы совхоза «Серп и молот». Это самый дальний уголок района, но сопровождающий меня заворг отдела дорогу знает. Как по совпадению, когда мы подъехали к конторе, из двухэтажного добротного здания выходит директор совхоза, парторг и председатель профкома. Они встречают нас и сразу ведут в животноводческий комплекс.

Я вижу помещение, разбитое на клетушки, где у корыт толкаются, лениво поддевая друг друга рылами, хрюшки и подсвинки. Наевшись да в тепле, они нагуливают сало... Свинарка на тачке развозит корм в вёдрах, наполненных почти доверху, снимает их с тачки, выливает содержимое в корыта. Такая вот «механизация». Ей помогает муж. Иначе с двумястами обжорами не управиться.

— Тяжело, — отвечает на мой вопрос чернявая молодая женщина с добрым усталым лицом. — А куды податься, чего боле искать? Со Смоленщины мы переехали, квартиру дали, хорошая. Вода, правда, из колодца. И печь сами топим. Уголь вот кончился. Замерзаем... Нешто поможете? Кажись, начальство... Греться сюды вот ходим. Тепло тут...

Я узнаю, что пензенские сёла обеспечены топливом меньше чем наполовину. Таков спектакль с миллионами тонн сверхпланового угля...

Я записываю просьбу свинарки, чтобы передать в области.

— А как с продуктами, с хлебом? — интересуюсь я.

— Хлеб есть. У нас пекарня в деревне. Только вот сынок часом булочки просит, маслица коровьего... На-смотрится в телевизор... А иде взять? Сдобы ни разу в магазин не привозили, сколь живём тут. А в Пензу при таком хозяйстве не наездишься, коровок производили в деревне, нет где их пасти...

Оказывается, село снабжается хлебом из местных пекарен. Они еле справляются с выпечкой хлеба, тут не до сдобы.

— А ваша молочно-товарная ферма далеко? — спрашиваю председателя профкома.

— Да вот за горушкой, можно съездить...

Я замечаю, как секретарь парткома грубо дёргает профсоюзного вожака за рукав пальто, что-то зло буркнув. И когда мы подходим к машине, говорит мне:

— К ферме сегодня не проехать, дорога забита сугробами. Завтра расчистим, приезжайте.

Я настаиваю: — Давайте попробуем, может пробьёмся. — Отправляемся в путь. Мне солгали — дорога расчищена ещё вчера, доехали до самой фермы. Здесь нас, конечно, не ждали.

Черенцовская ферма — это два соединенных галереей четырехрядных коровника. Гвоздь технического прогресса здесь — скребковый навозотранспортёр, работающий с месячными выходными, вакуумная установка для дойки, которые только под силу таскать мужику.

В коровниках — тепло, сыро. Мы «сваливаемся» на раздачу кормов. Доярки охалками разносят сено своим бурёнкам, таскают в ведрах измельчённую кормовую свёклу. Коровы мычат. Редкие лампочки светятся тускло.

— Покажите бытовки, прошу начальство.

Из полутёмного коридора мы заходим в тесную душевую комнату. На грязном давно не убираемом полу — навалом всякая всячина: ржавый топор, куски труб, грязные мешки, проволока.

Какое отношение весь этот хлам имеет к душевой комнате? Не в лучшем виде и раздевалка. В красном уголке хоть чуть и получше, но тоже полный развал: искалеченные стулья, в углу сиротливо приткнулся деревянный щит, густо загаженный мухами, над которыми лозунг: «Шире размах социалистического соревнования!»

— Куда уж шире! — комментирую я обстановку. Спрашиваю у директора совхоза, молодого чернобрового мужчину с интеллигентным лицом:

— После дойки соберём доярок на пять минут?

— Можно. — нехотя соглашается он, косясь на парторга.

От широкого кое-как застеклённого окна веет стужей, на подоконнике и на полу у стены намело сугробики.

Сколько жить буду, не забуду рассказ доярок из Черенцовки, как они недели две назад спасали свою подругу — немолодую женщину, вытаскивая из отверстия туалета, где царила крошечная тьма.

И хохот, и слезы, и дикость унижения достоинства труженицы.

Меня знакомят с «героиней»: мать троих детей. Никто из них не остался в деревне, где ни клуба, ни магазина, ни снабжения топливом. Все дети в городе...

Мне доярка говорит: «Кто на ферму сюда пойдёт? Кому деться некуда, у кого корни глубоко в земле, да и кто немощен. Мне пора на пенсию уходить, да вот бригадир упростила ещё на годок остаться, замены-то нет.

Начальства вокруг хоть пруд пруди, а занято оно только планом да собой. С топливом у нас просто скандал: ни угля, ни дров к зиме не запасёшь, сколько требуется, а в магазине из продуктов — килька ржавая да рыбная консерва в томате. Хорошо хоть хлеб из своей пекарни есть, а вот, б... ь, бормотухи зато вдоволь. У нас вон старушки-пенсионерки без винца жить не хотят. Выпьет стаканчик — и жить веселей, невзгоды забываются...»

Я исписываю почти весь блокнот.

Но люди говорят, говорят о наболевшем, о забитости своего быта, а парторг — упитанный, мордастый мужик — всё пытается помешать разговору, поторапливает, прерывает женщин, сердито покрикивая на них. Он выбрит до блеска, духами сбрызнулся перед тем, как приехать сюда, в шикарную дублёнку влез, шапку норко-

вую нахлобучил на бесстыжие глаза. И всё норовит разговор сорвать с людьми, которым цены нет, о которых начисто забыли сытые чиновники.

Я договариваюсь с доярками, что составлю текст письма в газету обо всех их делах, а на собрании через два дня они его подпишут.

— Нахал ты и бездушная скотина! — разряжаю я «автоматную очередь» в это толстомордое лицо, отведя виновника в сторону, чтобы наше объяснение «в любви» прошло без свидетелей. У того от неожиданности перехватывает дух, даже челюсть отвисает. А я, поворачиваясь, шагаю к машине.

— Приеду через два дня, продолжим разговор, — говорю я на прощание председателю профкома, робкому молодому пареньку, избранному на эту должность с месяца назад. Послушен, робок, суетлив. Такой всегда под рукой у парторга, мальчик на побегушках. И пикнуть не смеет.

Приезжаю через два дня, ферму не узнать. Пол в коровниках опилками облагорожен, транспортёр навозный запустили. Душевая и гардеробная сияют выскобленными половицами и новенькими деревянными подставочками.

А в красном уголке, где на подоконнике намело сугробики, уже занавесочки цветные на окошке, стол под скатертью-самобранкой, а на скатерти — самовар всей своей никелированной радостью сияет, пряники в вазе хрустальной, сервиз из размалёванного фарфора на двенадцать персон к столу зазывает...

На всякий случай кидаю глаз в печально знаменитое место, что без дверей всегда было, где наощупь вдоль стенки добирались к дыре. И здесь все по-человечески: дверь новая навешена, лампочка сияет.

В Черенцовке произошло чудо.

Его ждали, наверно, больше двадцати лет с тех пор, как здесь построили ферму. Но не заботой о людях, как повелось на Руси «социалистической» были вызваны добрые перемены, а самой банальной бюрократической показухой по команде из райкома партии.

В райкоме переполох...

Из Пензы двинули в совхоз штурмовую бригаду с грозным приказом первого секретаря: «Срочно навести порядок. Журналист столичный в районе».

Парторг, говорили, ночевал в красном уголке, положив под голову подшивку районки, электропечь приволок из конторы. Даже чайный сервиз из своего серванта привёз, на килограмм пряников раскошелился...

И мне вдруг захотелось взглянуть в глаза первого секретаря «краснознамённого» района, где аппарат райкома также был отмечен премиальными щедрыми суммами «за большие успехи в организации зимовки скота».

Мне сказал заорг отдела обкома, что первый секретарь, свершивший чудо в Черенцовке под Пензой, двенадцать лет на боевом посту, ведёт уверенно район к светлому завтра со своей традиционной плёточкой, а дела изобильные возглавляет в районе призывами: «Давай! Любой ценой! Я верю в героизм тружеников, они всё выдюжат!»

И выдюживает народ, и в краснознамённые выводит, и секретарю своему два ордена к парадному пиджачку приколол. А то, что люди жилы надрывают, примитивно устроены, испытывая во всем нужду, недостатки, не подлежит огласке.

Я вижу эту женщину — первого секретаря райкома партии, власть которого безгранична, как в удельном княжестве. Невысокая полная блондинка в парике, одета

в серый трикотажный костюм. Она улыбается, будто от души рада гостю, руку пожимает мою, любезно приглашает присесть. С виду милая симпатичная женщина.

Но я-то знаю, что это — маска, двуличная игра, исполняемая партаппаратчиками все годы своего тотального правления, под непосредственным руководством которых мы дошли к такой вот общенародной дерьмовой жизни... Секретарь улыбается... А как же быть с творящимися гадостями, с политикой нещадной эксплуатации животноводов?

А как быть с бедами людскими, их горьким ропотом? Но я слышу из уст партийного секретаря цифры о надежах и привесах, о «трудовом соперничестве в честь съезда партии»...

С образом этой женщины никак не уживается облик черствого чиновника, равнодушного к простому человеку.

На фоне знамени, парадно выставленном под стеклянным колпаком в холле здания райкома партии, вижу иную жизненную ситуацию, не подкрашенную разноцветьем лживых победных реляций: на красном полотне — слёзы сотен и сотен сникших женских судеб от беспросветного чёрного труда, труда без радости и чести...

Наверно, пензенская бацилла заразила меня болезнью «соревнования в честь»... Полистал, впиваясь в странные строчки, с десятков брошюр и профсоюзных других изданий на довольно приличной бумаге. Беден язык, примитивны примеры. Чем больше говорят авторы о соревновании, тем больше убеждаешься в бумажном происхождении всех и всяких «обязательств», в надуманности и кабинетном происхождении починов, инициатив, встречных планов.

Бумажный кит помогает профсоюзным органам, безнадёжно оторванным от народной жизни, громко

рапортовать о массовости соревнования, о его всеохватной масштабности.

Рапортуя недавно на своём съезде о том, что соревнованием в стране «охвачено» девяносто пять процентов трудящихся, ВЦСПС с головой выдаёт свою роль умышленного искажителя правды, последовательного сторонника уравниловки труда и командно-административного стиля министерств и ведомств.

Для ведомственной и профсоюзной бюрократии от соревнования главное не суть труда, не его моральная, воспитательная ценность, а показательная сторона, цифровая характеристика, валовая сводка производства. Без цифрового, показушного оформления профорганы не в состоянии представить социалистическое или любое другое соревнование, суть которого сегодня сведена к тому, что центр соревновательного — в основном бумажного — процесса поставлен не конкретный человек с его опытом и навыками, а **абстрактная трудоединица**.

Безнравственность обезлички породила обезличенную направленность всех госкомтрудовых и профсоюзных инструкций о премировании на ту же трудоединицу. В результате — массовая девальвация всех моральных и материальных поощрений, сколько бы красотей ни говорили профсоюзные чиновники о соревновании. Правды не желают замечать ни госкомтрудовые, ни профсоюзные формалисты.

А ведь сама жизнь давно смеётся над ведомственной курослепостью — на одном из пленумов Московского обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса рассказывали о необычном рекорде: одна доярка — победитель в казённом соревновании или в соревновании по-профсоюзному — в течение года отмечалась восемнадцать раз грамотами и дипломами всех ведомственных

и профсоюзных контор, а за пять лет у неё накопилось пятьдесят шесть красивых радужных бумажек.

Некоторые районы области выходят «победителями» по пятнадцать-семнадцать раз за пятилетку, основная же масса хозяйств прозябает в финансовых тупиках. Такова расплата за формализм, который ежегодно забирает двадцать семь миллиардов рублей.

В нашем отделе после сокращения штата, когда ушли Лякин и Дронова, у Калюкиной появилось два новых заместителя сразу. Анатолий разжалован до инструктора, у меня теперь новый «шеф». Виктора Матрука взяли в аппарат ВЦСПС.

По каким меркам в профсоюзном штабе оценивают работника?

Мерка банальная, скопированная у партийных аппаратчиков: по анкете и знакомству — Виктор лет восемь работал в комитете, писал такие же многословные справки как и все. Его профсоюзная «деятельность» связана с бумажно-заседательским делом. За время общения с ним в отделе я ничего примечательного в нём не нашёл, кроме бороды, придававшей значительность и даже некоторую интеллигентность его внешности. Своей бородой он гордился. Однажды я его увидел без бороды. Обнажилось его скуластое бледное лицо заядлого курильщика, тонкие губы придавали лицу злое и хищноватое выражение.

— Ты зачем сбрил бороду? Она тебе так шла, — говорю я Виктору.

— Так надо, — бросает он почти сердито.

Позже я узнаю, что один профсоюзный чиновник, готовивший выдвижение Виктора (они были давно в приятельских отношениях) посоветовал последнему перед собеседованием с «хозяином» снять бороду. На всякий

случай. В профсоюзах поклоняются шаблонам. Ради карьеры Виктор согласился.

Одному новому заму — пятьдесят шесть, второму сорок два. Павлова — постарше, посадили в нашу комнату. Второго, Вихлюту, «внедрили» в конфликтующую «галерку», так называли мы кабинет в конце коридора, где сидели Нина и Татьяна — вздорные разведёнки.

Такова была воспитательная тактика нашего начальства. Желания не спрашивали. Приказали — выполняй.

У Павлова — серое лицо цвета холстины, под пиджаком круглится животик. Роста он ниже среднего, а вот болтливости — за двоих. Среди тишины в кабинете вдруг раздаётся:

Н-н-д-а... придётся перекурить это дело. Скоро ли там обед? Посмотрю-ка я на часы, ага-а... Полчасика осталось... Ну так я пошёл курнуть, что-ли.

По-моему — это не только старческое. Иногда новичок ни с того ни с сего начинает вот таким образом:

— Н-нда-а... вот сижу и вспоминаю, как мы друженько брались за дело в ВЦСПС. Горы ворочали, прямо скажу...

Наталья и я молча обмениваемся взглядами, понимая друг друга, продолжаем работать. Она вычисляет свою цифирь статистическую, на которую профсоюзы непревзойдённые мастера, а я вычитываю наградные бумаги. Павлов продолжает вспоминать... Ищет слушателя... Он не считается с нами, ведь начальник же, можно безнаказанно поглумиться. Но я, не выдержав, обрываю его голубые мечтания:

— Давайте-ка помолчим. Работа. Работа ведь...

Я смотрю в его серые глаза и вижу, как в них блеснули и погасли стальные искры неприязни.

А через дня три он подходит к моему столу, кладёт какую-то бумагу и говорит начальственным тоном, не терпящим возражения:

— Отнесите в ВЦСПС на размножение. Надо срочно!

Я поднимаю голову, отрываясь от работы над документами, смотрю на бумагу, потом на Павлова, который весь день на моих глазах бездельничал, спокойно отвечаю:

— Во-первых, размножаются животные... А во-вторых, у меня неотложная работа и Вы мешаете её выполнять... Если Вам что надо, тем более срочно, делайте сам. Я не слуга Ваш. И не мальчик на побегушках.

Через минут пять меня приглашает в свой кабинет заведующая.

— Иван Герасимович, почему Вы не выполняете распоряжений моего заместителя? — строгим разносным тоном встречает меня с порога Вера Васильевна. Стукач сидит тут же, разнос начинается при нём.

— Я на побегушках у Павлова не состою. У меня своих дел хватает.

— За недисциплинированность мы Вас накажем!

— За что, Вера Васильевна? Здесь ведь не армия, где каждый ефрейтор отдаёт солдатам команды. В мои обязанности не входит разноска бумаг. Он готовил бумагу, пусть и доводит до конца...

Вижу, логика бесполезна, Вера «руководит». В результате меня лишают премиальных за квартал на сто процентов.

Это — грубое нарушение закона. Я жалуюсь Дергачёву. Тот поддерживает Калюкину. Мне дают понять, что начальник, пусть самый малюсенький, всегда прав. Их девиз: «Что хочу, то и ворочу!».

И снова профсоюзные деятели предали интересы своего рядового собрата, и вновь они были на стороне начальника.

Я опять наступил на грабли как тогда в институте, когда из-за самодура-начальника не сложилась моя научная деятельность. Сейчас вновь похожая ситуация...

Я ещё не мог предположить, что этот эпизод, эта стычка с Павловым сыграет свою роль и меня вышвырнут из комитета...

Срочная командировка в Брянск. Прислал жалобу председатель профкома районной «Сельхозтехники». Его освободил от работы президиум райкома профсоюза без ведома и согласия профкома. А это — нарушение профсоюзного устава.

Вера Васильевна советует мне перед отъездом проконсультироваться у нашего главного правого инспектора Суслова.

Я так и делаю. Среди семи заведующих Суслов выделяется независимостью суждений. Он — опытный думающий юрист.

— Мне кажется, — говорит Суслов, когда я рассказываю о сути жалобы, — что райком действовал по чьей-то указке, под давлением, что ли, вышестоящего лица... Следует, наверно, поинтересоваться, кто из работников обкома присутствовал при разборе дела. Это прольёт свет сразу. У меня был подобный пример...

Суслов как в воду глядел. Замешан во всей этой некрасивой истории секретарь обкома Блакитный, откровенно нажимавший на председателя профкома и управляющего предприятия, чтобы решить квартирный вопрос в пользу своего родственника. Областное профсоюзное начальство не ожидало, что председатель профкома воспротивится нажиму. С этим принципиальным парнем решили расправиться. Не вышло.

В общем, типичная история рабовладения: что хочу, то и ворочу...

Над Домодедово — нудный мелкий дождь, который нависает над Москвой уже трое суток. Меня утешает единственное: на Сахалине, куда мне предстоит отправиться в командировку, больше десяти градусов мороза. Председатель обкома профсоюза говорит мне по телефону:

— Мороз и солнце!

Отчётно-выборная конференция в Южно-Сахалинске открывается на следующее утро. Собирается около ста делегатов.

Ещё накануне меня посвящают в орготделе в тайны нашей профсоюзной «демократии» — заранее составлены и даже набраны в типографии списки не только будущего президиума, в котором я вижу и свою фамилию, но и делегатов на республиканскую конференцию и отраслевой съезд.

Все списки украшают фамилии орденосцев, ударников «коммунистического труда». Меж ними вставлены те, кто за дверями партийных кабинетов намечен в руководство. Я даже не помышляю остановить маховик замшелой машины профсоюзного отчётно-выборного формализма, внедрённого партократами по всей необъятной России.

В президиуме занимают как бы наследные места руководитель совпрофсоюза, работник обкома партии и другие «свадебные генералы». Спектакль — в духе застойных времён, железная заорганизованность происходит в массовой организации в разгар перестройки...

Оживление в зале вызывает выступление пожилой седой женщины со значком Верховного Совета СССР.

Она не стесняется «вынести» сор из избы. В наш адрес, в адрес формальных защитников народных интересов, она бросает тяжёлые, как валуны, слова правды: «... Не призыв перестроиться, а забота об условиях труда и быта действует на людей. Взять хотя бы животноводческие помещения — в них зимой сыро и холодно, бытовки примитивные, негде обсушиться, переодеться, нет душевых и даже туалетов, из рук вон плохо со спецодеждой. А ведь животноводы наши — в основном женщины пожилого возраста. Десятилетиями они теряют свое здоровье на тяжёлых ручных работах».

Такова вот обстановка с условиями труда в самом крепком хозяйстве Углегорского района. А как на других предприятиях?

«Не лучше с трудом и бытом у нас, — продолжает список обвинений профсоюзным болтунам, равнодушным к нуждам людей, мастер Южно-Сахалинского гормолзавода Людмила Леонтьева. — В прошлом году в нашем маслоцехе женщины работали всю зиму в двух телогрейках и валенках. И в этом году ситуация может повториться...»

Безрадостную картину производства рисует делегат от птицефабрики: «Кормоцех на фабрике не построен, птичники тоннами развозят корм на примитивных допотопных тачках, оставшихся от каторжан. Вышестоящие органы глухи к нашим бедам, не хотят конфликтовать с начальством, так спокойнее жить».

Затем выступает председатель Сахалинского совпрофсоюза. Уж лучше промолчал бы.

Этот догматик начинает пороть заведомую чушь: «Обком, райкомы профсоюза, профсоюзные комитеты на местах не используют резервов и возможностей для

активизации человеческого фактора, заложенных в ленинских принципах социалистического соревнования».

Вот это выдал! Ни одного живого слова правды, ни самокритичного признания профсоюзной парадности и формализма. А что было ожидать от такого человека, поменявшего за последние пять лет четыре руководящих должности? Партийные вырочалкины определили на профсоюзное довольствие до самой пенсии, благо года два осталось...

Процедура выборов проходит за час и, как всегда, единогласно избраны все, кто значился в списках.

А после конференции в мой гостиничный номер приходят вновь «избранные» председатель, секретарь обкома профсоюза, завоорг отдела с выпивкой и закуской. Мы чокаемся за дальнейшее процветание профсоюзной демократии.

На Сахалине я провел двенадцать дней, вникая в наш профсоюзный механизм, рассматривая точки соприкосновения его с жизнью, хотя опыта аппаратной профсоюзной работы у меня кот наплакал.

Этот недостаток я компенсирую своей многолетней журналистской практикой, размышляя над увиденным, анализируя факты и явления. Мне важно одно: определить свое отношение к формализму, найти его истоки. Здесь наиболее чётко проявляется социальная инертность комитетов и совета профсоюза. Я рассчитывал, что отчётная конференция внесёт какую-то живинку в работу. **Сколько же может продолжаться кредит доверия у народа к профсоюзным органам?**

Однажды председатель собирает аппарат. Говорит он целый час. О чём? Разговор — об отчётах, о бумагах, о том, как поприличнее выглядеть со стороны... И тогда я понял, кто пришёл на профсоюзную работу.

Теперь сомнений нет — Сергей — типичный представитель своей чиновничьей системы, он великолепно усвоил правила игры. В этой показухе-игре должность и благополучие зависят только от вышестоящего начальства, перед которыми Сергей отчитывается, которого боится, лебезит перед ним и угождает ему, как и мне. Надрываются от непосильного труда животноводы? Ну и пусть. Профорганы шумят об этом, заседания проводят на эту тему...

Разве не ясно, что и в Москве, и здесь на Сахалине комитеты профсоюзов — это одно из звеньев командно-бюрократического механизма, жёстко опекаемого парторганами. Ещё совсем недавно Сергей сам опекал всех и вся, приспособливая кадры и завесу партийной секретности для устройства личных дел.

Будучи первым секретарём райкома партии более десятка лет, он устроил зятя на доходное место в рыбоохране, помог получить чаду двухкомнатную квартиру в райцентре, а перед уходом с должности (был звонок из области от преданного человека) «завещал» своим приближённым прибыльные портфели.

Через несколько недель опальный секретарь уже сидел в профсоюзном кресле, получив трёхкомнатную квартиру в центре Южно-Сахалинска, в обход законов, ибо для аппаратчиков законы не существуют.

Сергей знал, на чём «сгорела» его партийная карьера: сдурел от сытой жизни, оступел от попок с начальством и без, рискнул однажды принародно возразить первому партийному чиновнику области. Они — жёсткие и властные хозяева, подобных вольностей не прощают. И вот разжалованный удельный князёк теперь пытается разыгрывать роль профсоюзного лидера, защитника народных интересов. Как и раньше, он свято верит в магическую силу заседания и резолюции.

Я пришёл на прощальный ужин. Сергей живёт в полном достатке, угощает он меня сервелатом и икрой, лососем и камчатским крабом.

Неважно для него, кто оплачивает достаток: партия или профсоюз. Партийный билет для них — это продовольственная карточка...

Заведующая поручает мне составить план работы комитета. Я обхожу отделы. К концу дня завы отдают мне свои предложения для плана на второй квартал. Что это за предложения? Например, отдел производственной работы решает готовить вопрос на президиум по Краснодарскому краю в июне. Отдел культурно-массовый выбирает уголок России в районе Каспийского моря, чтоб составить ещё одну бумагу «об опыте работы» так называемых культурно-спортивных комплексов. Подобное мероприятие обозначено в плане в разделе «Оказание практической помощи профсоюзным организациям».

Наше начальство для поездок так называемых «комплексных бригад» выбирает себе время года и места, богатые солнцем, рыбалкой и охотой. С учётом, разумеется, кампаний, проводимых время от времени партийными центральными органами.

Я добросовестно переписываю предложения отделов, свожу этот пёстрый набор разнометья, взятого заведующими с потолка — план готов. Готов за два дня. Отпечатанный на машинке, а затем растажиженный на ксероксе, он принимает внушительный вид официального документа за подписью председателя комитета, с визами всех секретарей.

Так что же такое профсоюзное планирование? По моему, это игра в прятки взрослых людей. Именно с плана начинается тот самый закоренелый формализм, понижающий все профсоюзные органы снизу доверху. Взгляните на любой план — от райкома до ВЦСПС. Они сработаны по одному шаблону. Наш комитет, например, планирует проверку: готовится бригада к выезду.

Что же это такое — «комплексная бригада» профорганов? Почему её так настойчиво рекламируют в профсоюзном штабе? Там считают, что это — гвоздь профсоюзной работы. И статистика отчётная готова: ежегодно в низовые профсоюзные звенья направляется более пятисот столичных профсоюзных «комплексных бригад».

К месту сказать, в профсоюзном центре это словосочетание стало наиболее устойчивым и модным, повторяется при любом удобном случае в отчётах, докладах на совещаниях высокого уровня. Оно, естественно, вылетело из уст высокого партийного начальства. И теперь, если составляются планы, то они обязательно — комплексные, а планы отраслевых профсоюзов без слова «комплексный» возвращаются на доработку. Других бумаг кроме как в «комплексном» исполнении в Москве уже не признают. Москвичей копируют пониже профорганы.

Кабинетное изобретение стало применяться массово: примитивный небольшой спортзал с турником и «конём» — это уже по профсоюзному — «спортивный комплекс». А если в штате числится полставки врача — готов для отчёта и «оздоровительный комплекс».

Клоунада да и только!

Наша «агропромышленная комплексная бригада» для ревизии в Якутии утверждена в составе пяти человек. Возглавляет её «сам» секретарь комитета Кузьмин, занявший эту должность лет пять назад, списанный из городского исполкома. Нам, пяти аппаратчикам из разных отделов, предстояло вникнуть в проблемы Севера, поскольку на партийном Олимпе замышлялась грандиозная московская говорильня и принятие очередной грандиозной бумаги.

«Комплексные» как всегда действовали наскоком, таким кавалерийским штурмом, чтобы насобирать пригоршни фактов и фактиков о той или иной проблеме, скажем, о животноводах Севера, высыпать всю эту фактографическую «продукцию» на бумагу. Такое исследование называлось профсоюзной наукой, актом «социальной защиты» тружеников села.

Из года в год подобная наука оказывала «практическую помощь» профсоюзным организациям. Ради этого и формировались такие, как наша для Якутии, а так же другие столичные комплексные бригады. Никто не хотел называть весь кабинетный формализм непроходимым дилетантством ради галочки в отчёте. Наоборот, изобретённая новинка показухи утверждена была штабистами в качестве основной формы работы центральных отраслевых профорганов и ВЦСПС.

В Якутск я лечу впервые. В московском аэропорту по-весеннему пригревает солнышко, а через шесть часов полёта северная столица холодов встречает нас двадцатиградусным морозом.

В местный аэровокзал за нами приезжают на двух «Волгах» и везут в обком профсоюза. После знакомства

с профсоюзным аппаратом и кратко разговора нас устраивают в гостиницу.

Она находится в ведении обкома КПСС. Кругом ковры, в номерах все удобства. Вежливая вышколенная обслуга. Мне с коллегой из производственного отдела достаётся шикарный двухместный номер. В нём — цветной телевизор, холодильник, телефонный аппарат.

Назавтра наши «ревизорские маршруты» спланировали так: мы с Юрием Петровичем в сопровождении заворганизационного отдела обкома летим в Верхоянск к оленеводам, технические инспекторы побывают в районе Нижнеколымска, а нашему руководителю предложили «Волгу» для поездки в Вилюйский район. А это как раз то, что называется объять необъятное.

И обком профсоюза с его штатом в двадцать человек, и наша командировочная горсточка кажутся мне такими затерянными в бесконечных якутских просторах. Здесь просто не счесть всех жизненных проблем, которые накапливались ещё с царских имперских времён, когда Москва смотрела на богатства Севера глазами жадного колонизатора.

С тех пор проблемой номер один стало выживание коренных народов.

На тысячи километров под крылом самолёта — бескрайнее снежное пространство, утыканное игрушечными деревьями. Это то, что осталось от богатого растительного мира, уникального и неповторимого. Среди снежной стихии затерялись города, посёлки добывающих производств, стойбища оленей. Люди живут в условиях вечной экономии тепла, продуктов, кормов, материалов. Цивилизованная жизнь в этом уголке советской империи всё ещё на дальних подступах...

Что мы успеем узнать об этих мужественных, терпеливых людях, на что мы способны — профсоюзные формалисты? Как назвать нашу «бригадную» работу? Наверно, игрой — профсоюзной игрой в «комплексные планы», начертанные в высоких кабинетах Москвы.

Да, мы выполним игровую задачу, поставленную руководством нашего столичного комитета, составим бумагу, добросовестно зафиксируем всё, что увидим, услышим.

Мы действительно без труда сможем набрать здесь уйму фактов и фактиков, как делали это десятки и сотни побывавших до нас в Якутии московских проверяющих, которые составляли многостраничные отчёты-справки. Как и они, мы добросовестно зафиксируем своё узаконенное дилетантство, соберётся очередное заседание в Москве, чтобы оформить в обтекаемые формулировки давно известные истины, ради галочки в «комплексном плане».

А жизнь здесь будет продолжаться по своим законам.

Итак, наша десантная тройка достигла, как говорилось в школьном учебнике по географии, «полюса холода».

В Верхоянском районе, который возглавил бывший председатель поселкового Совета, списанный в профсоюз за дела штрафные, до нас побывал года три назад московский профработник, сказали нам в местном профоргане. Его двадцатистраничная справка бережно хранилась в одной из папок председательского архива. В ней говорилось, что в Якутии сорвано задание по строительству объектов соцкультбыта, в строй введено только треть количества детсадов, прачечных, столовых. Провалено это «комплексное» строительство и в этой «текущей пятилетке».

Как и десятки лет назад, наши профсоюзы настойчиво фиксировали, что в местах обитания северных народностей жилища примитивны, аборигены спиваются, катастрофически исчезают рыбные промысловые артели, сокращаются пастбища, гибнут олени стада.

Эти и другие проблемы колонизованного края остаются десятилетиями неразрешёнными, несмотря на многочисленные наезды столичных чиновников.

От усадьбы совхоза «Адычинский» до оленеводческой стоянки более двухсот километров. Для якутских просторов вполне нормальная удалённость бригад. На райкомовском узике выезжаем в семь утра, а прибываем часов через восемь. Дорога, а вернее бездорожье, по которому ведёт в бригаду управляющий отделением совхоза, основательно вытряхивает из нас кабинетную засиделость.

Стоянка оленей расположилась в долине меж гор, поросших редколесьем. Отсюда с мая начнётся кочевка многотысячного стада.

Я впервые видел оленеводческую зимнюю стоянку. Она состояла из двух, сложенных из толстых брёвен избышек размером три на четыре. Чуть поодаль — дощатый навес для нарт, упряжки и другого инвентаря. Двор огорожен жердями, чтобы не сбежали с десятков ездовых оленей: само стадо «паслось» в полутора-двух километрах в редколесье предгорья.

Оленеводы — четверо молодых якутов. Один из них — бригадир — с женой и тремя малолетками от года до трёх. В жарко натопленной избышке, из окна которой дымила железная труба буржуйки, на столе нас ждал ужин. Посередине стоял большой эмалированный таз с дымящимся варёным мясом. Пока мы усаживались на деревянных топчанах за стол, Анна — жена

бригадира — пекла нам прямо на буржуйке большие, как блин, лепёшки. Дощатый стол, широкий топчан, скамейка — вот и вся мебель бригадирского домика.

Вечерело. Скудный свет еле проникал через окошко размером с форточку, а второе служило отверстием для трубы печки. Потому зажгли лампу. В углу за печкой я заметил портативную радиостанцию. Перехватив мой взгляд, бригадир объяснил гостям:

— Молчит, однако, месяца два. Генератор неисправен.

— А как же связь? Мало ли что может случиться, ведь трое деток...

— Пока всё нормально, а на крайний случай олени есть ездовые, — улыбнулся якут, ловко орудуя охотничьим ножом. Мясо не доварено, кровавит под ножом. Я через силу, несмотря на чувство голода, проглатываю кусочек полусырой оленины, сочащейся кровью. Налегаю в основном на лепёшку, наблюдая, как мелькают лезвия охотничьих ножей в руках оленеводов и моих попутчиков якутов. У них у всех руки окровавлены по локти.

Через несколько минут меня стало подташнивать и я вышел на улицу.

Крепкий морозец. Вечернее небо усеяно звёздами, яркими и крупными. Гляжу на звёздный мир, на заснеженные рядом горные вершины и невесело думаю об этом уголке, затерянном в снегах.

Здесь почти первобытные условия.

Люди не пользуются и сотой долей положенных гражданам цивилизованной страны бытовых удобств. Ни газет, ни книг, ни телевидения. Даже радиоприемник не работает: батарейки на вес золота. Ламповое стекло берегут как самую дорогую вещь. В рационе питания оленеводов, а среди них трое деток, нет овощей и фруктов, сдобы и масла, молока и соков. Макароны, лапша,

каша, чай, лепёшки вместо хлеба — еда взрослых и детей круглый год.

Догадываются ли эти покорные труженики, что их государство эксплуатирует самым бессовестным образом, а представители колониального агропрома дремуче равнодушны к судьбе каждого, затерянного в этих далеких просторах человека.

И нет в родном Отечестве такого закона, который привлёк бы к ответу двуличных управленцев за условия труда людей на грани риска жизнью и здоровьем.

А профсоюзы — защитники людей? У них свои заботы: угодить своим партийным боссам... Не прогнеть бы...

Заворганизационного отдела Попову председатель обкома поручил создать на оленеводческих стоянках профсоюзные группы. Потому сразу после трапезы он открыл собрание и выборы профгруппорга. Даже протокол написал. Затем выбрали заместителя группорга и страхделегата...

Всё — и казённые слова о «великой» роли профсоюзов советской страны, и важности социалистического соревнования в честь предстоящего съезда партии.

И разговоры про формальные обязанности членов профсоюза, и наставления, как вести профсоюзный дневник полуграмотному якуту, едва осиливающего роспись в ведомости по выдаче зарплаты, как составить план работы профгруппы — звучали в душной убогой хатёнке так глупо и фальшиво, что я порывался остановить болтуна, обозвать его дремучим ослом или как-то ещё в этом роде.

Вся эта выборная «комедия» профгруппорга — это насмешка над элементарным здравым смыслом. Неужто непонятно? Неужели в обком берут таких дубов? Анна

краснеет от стыда. Простая якутка и та понимает, насколько вся эта процедура смешна своей нелепостью среди этой горстки работающих оленеводов, меньше всего думающих о разных починах и роли соревнования... Им бы хоть раз в месяц сюда доставляли бы нормальный хлеб.

Профсоюзные и ведомственные чиновники поставили искусственно этих людей в «героические» условия.

Оленеводам и животноводам северных районов государство щедро обещало сборные домики, тёплую одежду, механизацию ручного труда, надёжную врачебную помощь, бесперебойное снабжение продуктами и товарами первой необходимости, стройматериалами. Но это были только обещания.

А мы, профработники, зачем? А что б заниматься «комплексными» проблемами, масштабно героическими кампаниями, показушным соревнованием, куда не вписывается простой человек с его житейскими проблемами, ежедневными заботами.

Ещё больший отрыв интересов функционеров от первичных организаций ощущается в Москве.

Профсоюзные органы не скрывают, что работают на себя и своих партийных покровителей, транжиря миллионы командировочных сумм, высоких должностных окладов, «наговаривая» по руководящим телефонам столько, что за один месяц этих денег вполне хватило бы на новую квартиру одинокой молодой матери, живущей, скажем, с ребёнком в бараке почти в центре Свердловска, где я побывал с представителями обкома профсоюза.

В Москве рассыпают народные деньги рукой безхозяйственности не только под колёса служебных лимузинов. Профсоюзная элита пользуется шикарными

квартирами, дачами, спецбуфетами, спецстоловыми, в их распоряжении любые льготные и бесплатные санаторные путёвки, щедрые загранкомандировки.

О теневой финансовой деятельности по обслуживанию своих номенклатурных интересов они никогда не отчитывались и не отчитываются перед профсоюзной массой. Подобная информация находится в строжайшей тайне. А здесь счета расходов на удовлетворение начальных аппетитов составляют сотни миллионов рублей. Об экономии здесь даже и речи не заводят. Лево́й рукой они подсчитывают экономию от учтенного гвоздя ради традиционной показухи, а правой — росчерком пера пускают в топку бесхозяйственности ведомственных магнатов миллиарды бюджетных средств.

Побывав в Оренбурге и на Сахалине, в Пензе и Якутии, Калининграде и Астрахани и других местах, насмотревшись на стиль работы московских аппаратчиков, я понял, что **профсоюзы состоят на побегушках у парторганов**, что вся эта огромная армия функционеров, «освобожденных» от конкретных забот, не только далека от запросов рядовых членов профсоюза, но и безразлична по своей чиновничьей сути трудовому человеку, не защищённому ничем от произвола властей.

Профсоюзы отраслей — это приспособленцы к власти имущим. Поэтому они не были бы приспособленцами, если бы не изобрели для себя надёжное убежище, где они, как улитка в раковине, укрылись от проблем повседневной жизни. Это убежище — **бумага**. Вернее, бумага — постановление, бумага — резолюция, бумага — мероприятие.

У аппаратчиков к такой **бумаге** особое отношение.

Они считают, что резолюция есть защитный инструмент от несправедливостей и произвола администраторов,

от самодурства и бесхозяйственности многочисленных ведомств, что она является реальной силой, которая ежедневно направлена на обеспечение социальной справедливости.

За свои четыре года работы в профсоюзе и довольно частых поездках в области, районы и первичные организации я ни разу не встречал ни одного нормального — небумажного — почина, который исходил бы из личного побуждения.

Скажем, специалист-инженер по своей инициативе взялся наладить механизацию тяжёлого ручного труда на фермах, разработал и начал внедрять систему механизмов. Выступил в печати, призвал своих коллег посоревноваться в изобретательстве. А строитель поделился своей новаторской программой по налаживанию сельских дорог, по благоустройству деревень, прифермерских дворов. Хороша была бы инициатива торгового руководителя пообещать народу покончить с дефицитом и нескончаемыми, унижающими человеческое достоинство очередями.

Такое ощущение, что на людей напала эпидемия — эпидемия страха и раболепия перед руководителями любого ранга.

Стало правилом, что все производственные инициативы сначала возникали в голове кабинетчиков, они выдумывали любой «почин», если надо было показать чиновничью активность по случаю выхода какой-нибудь грандиозной официальной бумаги.

И самое неприглядное в этом показушном формализме было то, что парадная шумиха подавалась как знак «неустанной заботы партии и профсоюзов» о повышении благосостояния людей.

На нормальные творческие почины и нормальную, подсказанную жизнью, заботу ни профсоюзные, ни другие общественные органы не были нацелены. Нет ничего случайного в том, что вместо обычной беззаботной жизни и труда повсюду внедрялась «**борьба**» за показатели. Показателями наполнена и сегодня вся профсоюзная бумажная жизнь. А у жизни свои законы, опутанные нашей бесхозяйственностью, коррупцией и экономическим невежеством.

Видел в Южно-Сахалинске (и не только там) на стене дома красочный плакат на тему **бережливости**. Будьте уверены — это показуха, плакатная видимость бережливости, а **по-профсоюзному** — борьба и **преступная бесхозяйственность**. И поэтому в Южно-Сахалинске в мебельном магазине рядом с плакатом горы детских деревянных саночек, доставленных сюда из Тарту. Встретил здесь знакомую кухонную утварь из дерева, сработанную в Белоруссии. В магазинах на Сахалине продавали обувь и другие товары из кожи с маркой украинских, московских фабрик, а местное сырье вывозили отсюда к берегам Волги и Днепра.

По всей стране шло бездумное разбазаривание народных денег и шла не работа, а сплошная борьба по-профсоюзному, устроенная народу бездушной чиновничьей системой.

В советские годы гигантский маховик формализма, раскрученный не только непросвещенностью, а порой элементарной безграмотностью большевистских вождей, угодливостью планирующих госкомтрудовых, профсоюзных и других органов, состыковавшихся с безграничным эгоизмом отраслевых ведомств, которые разделили страну на корпоративно-мафиозные интересы, нацелили всю экономику не только на варварскую

эксплуатацию недр и природных ресурсов ради сиюминутных интересов, но и загнал в безвыходные тупики творческую народную инициативу, смекалку, новаторство, бережливость — черты, свойственные простому народу — народу-труженику, сохранившему и сегодня через века уважение к национальным богатствам, к народным умельцам, восхищение талантами, «золотыми руками» мастеров своего дела.

В этих условиях пренебрежения к талантливой личности, в условиях всеобщей уравниловки и регламентации в оплате труда по командам из центра у наиболее неустойчивой и бесталанной, приспособленческой части общества появилась возможность получить сполна мзду за формально и некачественно выполненную работу. Хапнуть незаслуженное вознаграждение благодаря формализму «показателей соревнования» одинаково с теми работниками, кто был талантлив, творчески активен и честен перед собой и обществом.

Отсюда, на мой взгляд, берёт начало социальная несправедливость социалистической распределительной системы, ориентированной на обезличенную трудовую единицу.

Уравниловка убивала в людях социальную активность, принципиальность гражданской позиции, поскольку внедренная насильно система «соревнования» открыла путь к благам приспособленцам, рвачам, некомпетентности, бездарности.

Формальные «победители» и герои по разнарядке парткабинетов чаще стали поощряться материально, чем скромные труженики, а сомнительный опыт «ударников» стал миллионно тиражироваться в казенных заорганизованных кампаниях по «патриотическому трудовому воспитанию масс».

Формализм губит на корню дело и тогда, если за него берутся многие, разные, а за конечный результат никто не несёт материальной ответственности, принятой в цивилизованных странах.

Своё отношение к коллективной безответственности народ высказал однозначно:

«У семи няnek дитя без глазу». А ведь это и есть изначальное неприятие формализма и безответственности, внедрённое директивно советской системой в жизнь.

Всеми средствами массовой информации, машиной партийной пропаганды и агитации по командам из московского центра внедрялось ударничество, производственная штурмовщина, всячески поощрялась рекордомания валовых показателей и трескучих показушных кампаний.

Именно в годы наступления социалистической уравниловки и закрепления коллективной собственности такое сугубо личностное, творчески индивидуальное понятие «труд» уступило место крикливому, лозунговому призыву к «борьбе».

Если глубоко вникнуть в суть этой грандиозной насильственной ломки естественной мотивации труда, то нетрудно обнаружить исток, питательную среду многолетнего советского формализма, принявшего уродливые формы уравниловок, единообразия показателей, кабинетной штамповки починов, инициатив, встречных планов, дополнительных обязательств и соревнований в честь дат и партийных форумов.

Профсоюзы, возглавив массовую шумиху, довели партийное дело внедрения формализма в душу миллионов людей. А это означает что наряду с **коллективным формализмом**, т.е. многоликкой безответственностью в обществе наиболее пышно **расцвёл формализм инди-**

видуальный, основанный на корысти человеческой натуры. Именно эта его разновидность наиболее опасна для нас по причине своей массовости.

Стойкими носителями индивидуального формализма являются многочисленные исполнители разветвленной государственной исполнительской системы, где сосредоточены все мощные силы рутинности, где царствуют инструкции на все случаи жизни, где тиражируются перечни формальных обязанностей кабинетных работников и штатные расписания, шаблоны ставок, окладов, тарифов — свежие ветры перемен сомнительны.

Вершина бюрократического формализма — это вменить обязанности той или штатной единице, практически невыполнимые, если их выполнять добросовестно. На вершине крючкотворства оказалось нынешнее руководство страны.

Оно хватается одновременно за сотни неотложных дел, не доводя ни одного до логического завершения по причине необъятности необъятного.

Что же получило общество в результате кабинетного бумаготворчества?

А то, что человек, не связанный с конкретным делом, выполняя множество обязанностей, вынужден смириться с так называемой « незавершённой ». А при условии традиционного формального контроля за исполнением, что является постоянным спутником централизованной системы управления, казённый формализм достигает безграничного многообразия и по своей масштабности сравним разве с эпидемией заразной болезни.

Формализм — это имитация, видимость работы. Формалист никогда и никому не задаст вопроса: а какова польза государству, обществу в целом от моего дела? Нужен ли мой труд для процесса жизни, для блага

ближнего? Формализма не замечают только сами формалисты. Они с ним свыкаются как нечистоплотная хозяйка к мусору в квартире.

Наблюдая за формалистами, нетрудно подметить главную суть этого явления: формализм связан своими корнями с человеческой недобросовестностью, с моралью ущербного незрелого гражданина.

Однажды на собрании новый заместитель заведующей Иван Федорович сказал потрясающую вещь:

— Я считаю за счастье поехать в командировку с Александром Афанасьевичем!

— Кому счастье, а кому ум даётся, — отозвалась Татьяна, инструктор.

А принцип подбора тематики?

Профсоюзы всегда держат нос по ветру. Стоит высокопоставленному партийному чиновнику высказаться по какой-то проблеме — профсоюзы тут как тут.

Потому все почти планы работы от «первички» до главного штаба начинаются с ударной темы, поднятой каким-нибудь партийным пленумом. Была, например, социальная политика для парторганов делом второстепенным, и профсоюзы не интересовались качеством жизни народа, а условия труда и быта всегда были на задворках внимания. Пассивность профорганов скрыта и в качественном составе руководящих кадров ВЦСПС, отраслевых профсоюзов и местных профорганов.

К руководству профсоюзными комитетами и советами за годы застоя да и сегодня пришли в основном

случайные люди — по номенклатурной разнарядке. В основном это властные серенькие исполнители, вкусившие сладость дармовых привилегий.

Все секретари, заведующие отделами ВЦСПС, председатели и секретари центральных и республиканских комитетов — бывшие партийные и советские чиновники. Дергачёв пришёл, например, из Ростовского обкома партии, где заведовал сельхозотделом. Председатель отраслевого профсоюза Давыдов — бывший инструктор ЦК КПСС брежневских времён.

Все они аппаратчики, далёки от нужд и забот трудового народа, не имеющие представления о нормальной демократической жизни, об истинных защитных функциях профсоюзов. Все они как один — опытные мастера разве только по организации показушных рапортов, и бесчисленных заседаний по оформлению постановлений, резолюций и других бесполезных бумаг.

Местные кадры также дают пищу для грустных размышлений: все председатели обкомов и крайкомов профсоюза работников агропромышленного комплекса — выходцы из партийных кабинетов. На «выборных» должностях районного, городского и областного уровня сегодня днём с огнём не найдёшь беспартийного работника. Почти девяносто процентов профсоюзных кадров первичного звена — также члены партии.

Такова арифметика сегодняшнего профсоюзного тупика. В профсоюз списывали (как я ранее уже говорил) подмочивших репутацию неудачников партийно-советской и хозяйственной номенклатуры.

Это происходит на моих глазах: более двух третей председателей обкомов профсоюза — списанные партийные секретари и заведующие отделами областных парторганов.

По комитету прошёл слух, что главный правовой инспектор Суслов «накатал огромную телегу» в ВЦСПС о несостоятельности нашего руководства. Писал он о безделии секретарей, о формализме планирования профсоюзной работы, о бюрократизме и заседательской суетне. Перестройкой в комитете и не пахнет, утверждал Суслов. Наш юрист, наверно, толково разобрался в профсоюзной формалистике и круговой поруке «избранных», коль выставил серьёзные претензии руководству по пятидесяти пунктам. Я читал этот документ. В нём чистая правда.

По личному опыту я знал, чем заканчиваются такие бумаги. По своей житейской наивности Суслов поверил в разговоры о перестройке, которыми бойко рассыпались в многочисленных средствах массовой информации высшие профсоюзные чиновники. Он рассчитывал на обновление, на то, что его мнение будет учтено при организации нового комитета, так как предстояла отчетно-выборная конференция.

Но конференция проходит без сучка и задоринки.

Вся прежняя руководящая обойма остается в своих креслах, ибо такие люди при условии круговой чиновничьей поруки не зависят от слова или мнения рядовых людей. Более того, я мог бы воспроизвести весь сценарий, который исполнял аппарат в подобных ситуациях.

Скажем, появился в ВЦСПС Ломоносов. Одиннадцать лет Ломоносов был рядом с Рашидовым, являясь членом бюро ЦК компартии Узбекистана, занимая пост секретаря ЦК. Сколько лет они в дни разгула преступной мафии глумились над частными людьми! Письма Р. Гуламова, о которых говорилось в «Литературной газете» в декабре 1988 года и которые были

адресованы Л. И. Брежневу, относятся к тем самым временам, когда у Рашидова верным подручником был москвич Ломоносов. Надеялся на тихое местечко в профсоюзной гавани, надеялся, что все позабыто. И настолько осмелел, что на XIX партконференции был избран в комиссию ЦК КПСС по кадровой работе во главе с Разумовским.

Второй, не менее яркий представитель приспособленческого мира сильных — секретарь ВЦСПС Каратай Турысов. Блистательный выдвигенец Кунаева попал в дворцовую свиту «отца» казахского народа в 1981 году. Шесть лет он усердно раздувал кадило славы Кунаева, трубя со всех трибун о великом процветании казахского народа под мудрым руководством брежневского дружка. «Особенно большие успехи достигнуты за последние двадцать лет, триумфальными стали годы десятой пятилетки...», — вещал на всю страну Турысов с трибуны съезда профсоюзов. За верную службу и старательность Кунаев отблагодарил лидера республиканских профсоюзов, посадив Турысова в кресло секретаря ЦК компартии Казахстана. Чем бы закончилась эта дружба с Кунаевым, можно только гадать. Наверно, блестяще, «отец» народов умел благодарить верных слуг своих. Да вдруг вокруг кунаевского трона жареным запахло. Как и Ломоносова, Москва приютила и Турысова.

Кто же распорядился облагодетельствовать провалившегося и скомпрометированного партийного чиновника высокого ранга, выделить ему шикарную квартиру? Можно только догадываться, куда тянется эта потаённая золотая ниточка. В работе пленума принимала участие и рекомендовала на профсоюзное довольствие верных подручных, провинциальных удельных князей секретарь ЦК КПСС А. П. Бирюкова.

Такие вот кадры у руля нашей профсоюзной державы! Листая эти и другие документы по кадровым делам, я с горечью думал: «Мыслимы ли перемены в профсоюзе, если на высоких должностях остались те же кабинетные выдвигенцы? Это они принесли сюда копию не вчерашней, а позавчерашней узурпаторской системы руководства». Как заматерелые партаппаратчики они слепо копируют не только оторванные от жизни стиль и методы нажимного руководства, но и все регламенты своих бесполезных заседаний, схемы пустопорожних докладов, резолюций, постановлений...

Из Нальчика приходит страшная телеграмма: из-за варварской эксплуатации оборудования и двенадцатичасовой смены, установленной здесь администраторами с согласия профсоюзов, произошла авария, погибло семь человек. Меня потряс не только сам факт ужасной трагедии, но и предательское поведение председателя профкома. В дни разбора причин этой трагедии он обратился в партийные органы, чтобы руководителей, повинных в гибели людей, уберечь от ответственности...

А всего три месяца назад так называемая «комплексная бригада» во главе с секретарем Борисовым провела в Нальчике одиннадцать дней, готовя бумаги для обсуждения вопроса на очередном президиуме под руководством Дергачёва. Как видите, бумага состоялась...

Я помню, как за трибуной стоит и читает гладенькую справочку о профсоюзной работе на предприятиях агропрома в Нальчике симпатичная брюнетка — секретарь обкома профсоюза, как потом опыт всей этой профработы одобряется на президиуме... А в постановлении — традиционные пустопорожние указания: «...сосредоточить внимание на скорейшем решении вопросов улучшения условий и охраны труда, безусловном

соблюдении техники безопасности и санитарно-бытовых норм».

Бумага, составленная Калюкиной и Борисовым, а затем подписанная Дергачёвым, «взята на контроль», а жизнь людей на хлебокомбинате, по которому прошвырнулась наша «комплексная», шла своим чередом, развивалась в уродливых противоречиях, пока не взорвалась трагедией вопреки гладкой профсоюзной бумаге.

Газета «Советская Россия» опубликовала статью председателя Московского городского совета профсоюзов В. Щербакова. Он пишет: «В Москве за последние два года заболеваемость трудящихся снижена на четырнадцать процентов. Это позволило сэкономить сто миллионов государственных средств, из которых пятьдесят девять миллионов направлено на развитие здравоохранения...»

Таков вот вид обновленного профсоюзного рапорта как свидетельство новой активности профсоюзов, заботящихся «трогательно» о здоровье людей. Цифра действительно впечатляет. Но впечатляет того, кто не знает, что за этим профсоюзным традиционным рапортом стоит. А я знаю. За красивой цифрой — традиционная профсоюзная ложь. Исток этой лжи — в игре ВЦСПС в очередное сомнительное «мероприятие», запланированное еще в брежневские времена.

В нашей стране при условии низкого производственного быта, массовой бедности людей и полунущенском качестве питания высоки заболеваемость и травматизм всех видов. Потери по временной нетрудоспособности, инвалидности, увечьям составляют миллионы рублей ежедневно. Потери многократно усугубляются крайне низкой организацией здравоохранения.

Так вот эти миллионы потерь давно не давали покоя профсоюзным функционерам, не из благих побуждений, нет. Захватив в свои руки все средства по государственному страхованию, ВЦСПС считается полным хозяином колоссальных сумм. Как к ним подступиться, как оторвать побольше от дармового пирога?

Что полезного может предложить административная система? Ничего, кроме стереотипных административных методов: нажим, развёрстку, планирование от достигнутого.

Так в профсоюзных кабинетах был рождён новый показатель «активности» чиновников — уровень заболеваемости. Решение принято по инициативе С. А. Шалаева, также «избранного» в годы брежневского половодья бездуховности и двуличия с применением всех атрибутов нищенской профсоюзной демократии.

Пленум ВЦСПС состоялся в «ответ на выступление Л. И. Брежнева», на его призыв к очередной «борьбе» с потерями в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Была выдана соответствующая бумага на «развёртывание всенародной борьбы».

Ни наука, ни медицина не занимались серьёзным изучением всех возможных социальных последствий от практики «планирования заболеваемости» людей, профорганы волевым решением, получив поддержку у партчиновников, внедрили новый «показатель» в отчёты не только медицинских учреждений и профорганов, но и в социалистические обязательства всех коллективов.

Руководство ВЦСПС увидело в планировании заболеваемости ведомственную возможность отрапортовать своим партийным кураторам новой круглой цифрой в «результате разработанных профсоюзами мероприятий...».

Новый профпоказатель начал «работать» в массовом масштабе с 1984 года. Директивным порядком ВЦСПС разверстал плановые задания по методу госплановских контор — от достигнутого — по годам, по регионам, а в регионах местные профорганы раздробили цифирь по предприятиям и учреждениям, по каждому отделу здравоохранения, больницам и поликлиникам. А на финише года, естественно, поставили на бюрократических подпорках премиальный рубль — для поощрения рьяных медицинских и профсоюзных администраторов, приставленных в качестве бдительных контролёров и к без того задёрганным первобытной организации труда — врачам.

Благодаря этой профсоюзной атаке на жизненные интересы трудящихся волевая разверстка кабинетного «показателя» злым семенем вошла на безнадёжно отсталой ниве нашего здравоохранения.

И сегодня — после десятилетнего нелепого профсоюзного эксперимента здравые голоса настаивают на отмене этого решения, но профцентр, что называется, «упёрся» и стоит на своём. Ежегодно трагикомедия с развёрткой показателей в соревновании по усечению больничных листов в ущерб здоровью людей продолжается. Профсоюзы подсчитывают горькие миллионы ради показухи.

* * *

Нежданно-негаданно состоялся последний в истории нашего комитета пленум, который ликвидировал этот орган.

Внешне — для отчёта — упразднено одно из звеньев громоздкой профсоюзной структуры. На самом же деле произошла самая банальная смена вывески.

Комитет переименован в «Бюро ЦК». Остались те же отделы, почти те же сотрудники. И хоть новое образование не предусмотрено Уставом профсоюзов, но аппаратчикам всё под силу.

Бюрократизм, наверное, неистребим, ибо носители его продолжают свою «деятельность». И сегодня на ведомственной профсоюзной ниве, заросшей травой формализма, снимают урожаи дармовых благ Юнак и Матрук, Давыдов и Шмаков. А некоторые из них прочно уселись в кресла народных депутатов.

Это их круговая порука, сомкнувшись с возрождающейся номенклатурой, зловеще нависла над демократическими завоеваниями России.

Просто так они не сдадут привилегии, даруемые бесконтрольной властью. «Ум, честь и совесть» вновь рвётся к власти со своими опричниками.

Москва, 1990–1995 гг., 2012 г.

Содержание

<i>Людмила Фадеева. Поэт, прозаик гражданин.</i>	5
<i>Михаил Кузьмич. На ладони ломтик хлеба</i>	9
<i>Наталья Мироненко. Письма к Фадеевой</i>	
<i>Людмиле Валентиновне</i>	15
<i>Вера Киулина. Живой урок истории XX века.</i>	17

РАССКАЗЫ, ЭССЕ, ОЧЕРК

ВИТЁК	22
БЛИНЫ	30
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ.	33
МУХА	37
КОЧЕГАРЫ	41
ХЛЕБ ДИОГЕНА, ИЛИ ЗАПИСКИ ДВОРНИКА. . 74	74
БАНЯ	105
ВСТРЕЧА НА ТРОПЕ	110
175-ЛЕТИЕ РУССКОГО НАРОДНОГО	
ГИМНА	125
МЕМОРИАЛ УГРАНСКИМ ХАТЫНЯМ	127

ПОВЕСТЬ

В ТИХОМ ПЕРЕУЛКЕ	130
----------------------------	-----

Литературно-художественное издание

Леонид Герасимович ФАДЕЕВ

**ХЛЕБ ДИОГЕНА,
или
ЗАПИСКИ ДВОРНИКА**

Проза

Редактор — *Евгений Степанов*
Компьютерная верстка — *Ирина Ракитина*
Корректурa — *Людмила Фадеева*

Бумага офсетная
Гарнитура Minion
Тираж 100 экземпляров
Подписано в печать 28.01.2022

Издательство «Вест-Консалтинг»
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12
Тел. (495) 978 62 75

Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол,
Комсомольский проспект, 73.